

РУССКАЯ ЛИРИКА

РУССКАЯ
ЛИРИКА





РУССКАЯ ЛИРИКА

МАЛЕНЬКАЯ АНТОЛОГИЯ

от

ЛОМОНОСОВА до ПАСТЕРНАКА

СОСТАВИЛ

Кн. Д. СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

проф. Г. П. СТРУВЕ

RUSSICA PUBLISHERS, INC.

New York • 1979

SVIATOPOLK-MIRSKII, Dmitrii Petrovich

RUSSKAIA LIRIKA.

**Malen'kaia antologiiia
ot Lomonosova do Pasternaka.**

Preface by Prof. **Gleb Struve.**

© 1979 by Russica Publishers, Inc.

All rights reserved.

Library of Congress Catalog Card Number:

79-65802 ISBN: 0-89830-007-X

RUSSICA PUBLISHERS, INC.

799 Broadway

New York, N. Y. 10003

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда я говорил своим друзьям и знакомым, что один ньюйоркский издатель попросил меня написать вводную статью к задуманному им переизданию составленной кн. Д. П. Святополк-Мирским* и вышедшей в Париже в 1924 г. антологии «Русская лирика», некоторые из них выражали удивление: зачем, мол, переиздавать эту книгу, она безнадежно устарела?!

Конечно, всякая антология или хрестоматия довольно быстро устаревает — особенно в отношении современных составителю писателей. Неслучайно поэтому, что из 130 стихотворений 47 поэтов, включенных составителем в «Русскую лирику», только 13 стихотворений шести поэтов принадлежат поэтам еще живым тогда,

* Я предпочитаю употреблять настоящую полную фамилию Святополк-Мирского, хотя в Англии (а потом и в Советском Союзе) он стал называть себя просто Мирским, сохранив первую часть фамилии как средний инициал (D. S. Mirsky), и так его стали называть все его читатели, не только нерусские, но и русские. Но до своего возвращения в СССР он почти до самого конца подписывал свои русские статьи своей полной фамилией и даже с княжеским титулом. Так обозначена его фамилия и на «Русской лирике».

когда составлялась антология. Правда еще три поэта 20-го века, которых уже не было тогда в живых, представлены одиннадцатью стихотворениями: Иннокентий Анненский — тремя, Блок — семью и Гумилев — одним. Такие выдвинувшиеся впоследствии — и уже довольно скоро — поэты, как Волошин, Мандельштам, Маяковский, Есенин и Пастернак, представлены каждый одним всего стихотворением (правда, у Мандельштама это одно стихотворение является циклом из трех). О непредставленных вообще современниках Святополк-Мирского я скажу кое-что дальше.

Иными словами: да, если хотите, антология устарела. Тем не менее я не согласен, что она не заслуживала переиздания*. Она его заслуживала уже потому, что — по моему твердому убеждению — Святополк-Мирский был автором лучшего, до сих пор непревзойденного, краткого обзора истории русской литературы на каком-либо языке. Эта его книга вышла в 1926—1927 гг., когда он был лектором по русской литературе в Лондонском университете. Книга состояла из двух томов, которые назывались «История русской литературы» и «Современная русская литература». Первый том доводил обзор до 1881 года, до смерти Достоевского; второй заканчивался на 1925 годе. Эти два тома сразу же стали на Западе настольными книгами для изучающих серьезно русскую литературу. После Второй мировой войны, когда интерес к России и всему русскому еще возрос, в США

* Лучшей маленькой антологией русской поэзии назвал антологию Святополк-Мирского В. Ф. Марков в своей статье о русской поэзии в одной американской энциклопедии: Alex Preminger et al., eds. "Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics" (1974), p. 736.

было выпущено в 1949 г. новое издание в одном томе под редакцией проф. Франка Уитфильда. В этом издании книга была несколько сокращена: отброшены были «междуглавье» (между главами V и VI) о революции 1917 г. и глава VII, в которой автор дал краткий очерк пореволюционного периода до начала 1925 года. Эти отброшенные части были заменены постскриптумом редактора, в котором он на 12 страницах вкратце характеризовал развитие русской литературы после 1917 года. Книга таким образом заканчивалась, в сущности, на шестой главе — о поэзии после 1910 г., на Маяковском и Пастернаке. Этот однотомник выходил после того в виде дешевого paperback. Как общий обзор истории русской литературы дореволюционного периода он продолжает оставаться неизменным руководством в английских и американских университетах. На русский язык книга никогда не переводилась, и об этом можно, пожалуй, пожалеть, несмотря на обилие разных трудов по истории русской литературы, ибо в своем двухтомнике Святополк-Мирский проявил и тонкий литературный вкус, и остроту суждений, и большую эрудицию.

Таким же тонким, если иногда и с уклоном в субъективизм, ценителем поэзии он обнаружил себя и в переиздаваемой ныне антологии. А его предисловие и примечания к ней до сих пор не утратили своей ценности и интереса.

В выборе поэтов для включения в антологию, как и в выборе отдельных стихотворений у каждого включенного в нее поэта — и даже, скажем, числа отобранных стихотворений — не могли, конечно, не сказаться еще больше, чем в историческом обзоре всей русской литературы, личные,

субъективные взгляды и подходы составителя. Вообще, как правильно заметил в одном месте английский славист, Джеральд Смит*, готовящий сейчас монографию о Святополк-Мирском, последний в своих работах по русской литературе на английском языке в первую очередь ставит себе задачу дать иностранному и иноязычному читателю информацию по истории литературы, и отсюда преобладание в них описательного начала; тогда как, когда он пишет для русского читателя, «у него преобладает другое: задорная полемичность, стремление к крайностям, свобода от фактографии. Для английского читателя он пишет вширь, [...] для русского читателя он пишет вглубь»*.

Вопроса о выборе поэтов для включения в антологию, о методе ее составления Святополк-Мирский сам касается в предисловии, как всегда интересном, к «Русской лирике». Он называет при этом ряд поэтов, которых некоторые читатели и критики могли бы счесть незаслуженно пропущенными или забытыми. О неключении некоторых он сам откровенно жалеет. Тут нельзя не отметить того, что, говоря о поэтах XIX века, он пишет, например, о Вильгельме Кюхельбекере и Александре Одоевском: многие наверняка думают, что оба они больше заслуживали включения, чем Полежаев или Огарев. Среди поэтов второй половины XIX века многих

* См. его статью о недавно обнаруженной, ранее не печатавшейся статье Святополк-Мирского «О современном состоянии русской поэзии», написанной в 1922 г. Статья Святополк-Мирского, с небольшой вступительной заметкой пишущего эти строки и «послесловием» Джеральда Смита была напечатана в июньской книге ньюйоркского «Нового Журнала» за 1978 год (стр. 76—115).

удивит то, что составитель столько места уделил Константину Случевскому: три стихотворения, одно из них очень большое. Случевскому Святополк-Мирский посвятил целых три страницы и в своей «Современной русской литературе», вкратце упомянув его до того в первом томе книги. Он видел в Случевском настоящего и интересного поэта, хотя и совершенно беспомощного, поскольку речь шла о поэтическом мастерстве: он называл его в поэзии «заикой». И в примечании к стихам Случевского в антологии он также пишет о его «косноязычии». Говоря о том, что он был недооценен, он вместе с тем вынужден признать, что «в наш век господства формальных задач Случевский имеет мало шансов на внимание». Много позднее, в 1935 г. в статье об изданиях «второстепенных» поэтов в начатой Горьким серии «Библиотека поэта» Святополк-Мирский, говоря о пропущенных поэтах, писал: «Другой большой пробел — Случевский, поэт, зачатками гениальности своеобразно соединивший жажду широких поэтических обобщений с реакционно-чиновническим мирозерцанием и своеобразный реализм — с определенными чертами декадентства». Оказавшись сам тогда уже всецело в советской орбите, он не отметил, что попытка пересмотра взгляда на Случевского была сделана в русском Зарубежье в конце 20-х и начале 30-х годов в статьях Г. А. Мейера*. Интересная статья о Случевском известного критика, б. редактора журнала «Аполлон», С. К. Маковского, вошла в его книгу «На Парнасе 'Серебряного века'» (Мюнхен, 1962). Маковский назвал Случевского замечательным пи-

* Две статьи Георгия Мейера о Случевском вошли в посмертно изданный «Сборник литературных статей» (Франкфурт/М., изд. «Посева», 1968). Упомянутая здесь статья Святополк-Мирского 1935 г. перепечатана в тоже посмертно изданном сборнике «Литературно-критические статьи» (М., «Советский писатель», 1978).

сателем. А теперь интерес к Случевскому возродился и в Советском Союзе, и том его стихов был включен в «Библиотеку поэта» в 60-х годах.

Выбор Святополк-Мирским отдельных стихотворений у того или иного поэта может вызвать иногда еще больше возражений и сомнений. Я бы, например, ограничился каким-нибудь одним стихотворением у Кольцова, но зато включил бы по крайней мере еще одно стихотворение Вяземского. Многим, вероятно, покажется странным выбор единственного стихотворения (далеко, пожалуй, не лучшего) у Бальмонта, отношение к которому Святополк-Мирского было заведомо сдержанным, хотя он и признавал его «большим» поэтом (правда, «эфемерным и односторонним»).

Что касается стихов других современных составителю поэтов, то нельзя не отметить один провал, который и тогда должен был многих немало удивить, а теперь, ретроспективно — и подавно. Я имею в виду отсутствие в антологии Марины Цветаевой. Это тем более удивительно, что мы знаем не только, что Святополк-Мирский высоко ценил поэзию Цветаевой, что он очень лестно писал о ней в своей английской истории новейшей русской литературы, но и что он очень хвалебно отозвался о ней еще до составления «Русской лирики». Он сделал это в той недавно новооткрытой статье, которую я упомянул выше. Статья эта была написана, как я сказал, в 1922 г., т. е. до написания предисловия к «Русской лирике», помеченного августом 1923 г. Святополк-Мирский тогда уже начал преподавать русскую литературу в Лондонском университете, и свое предисловие он написал во время летних каникул, которые проводил в Бретани в городе Кэмпере (Quimper), столице департамента Фи-

нистер*. Статья 1922 г. была послана Святополк-Мирским в Прагу в журнал «Русская Мысль». Она была принята редактором П. Б. Струве, но из-за последовавшего вскоре закрытия журнала не была напечатана и была найдена мною в архиве журнала. В этой статье Святополк-Мирский писал о Цветаевой: «Она недостаточно оценена и мало известна широкой публике. Между тем она одна из самых пленительных и прекрасных личностей в современной нашей поэзии. Москвичка с головы до ног. Московская непосредственность. Московская сердечность. Московская (сказать ли?) распушенность в каждом движении ее стиха». В предисловии к «Русской лирике» Святополк-Мирский упоминает имя Цветаевой, почему-то в данном случае особенно подчеркивая последнее из отмеченных им «московских» свойств ее: «талантливая, но безнадежно распушенная москвичка». И все же непонятно, почему он не нашел возможным включить в свою антологию хотя бы то самое стихотворение Цветаевой, которое он цитировал в своей статье 1922 г., и не поставил ее рядом с Маяковским, Есениным и Пастернаком.

В статье 1922 г. Святополк-Мирский дал высокую оценку еще двум другим мало известным

* Забавно, что в своей статье о поэте гр. В. А. Комаровском, напечатанной сначала в альманахе «Мосты», а потом в сборнике статей «На Парнасе 'Серебряного века'», покойный С. К. Маковский, живший много во Франции и хорошо знавший страну (но, очевидно, не Бретань), принял это название города за псевдоним Святополк-Мирского. Эту ошибку Маковского повторил в своей статье о Комаровском в амстердамском журнале "Russian Literature" (VII—VIII, 1979) В. Н. Топоров. Между прочим, Святополк-Мирский жалел о невключении им Комаровского.

тогда поэтам: москвичу Василию Казину, «пролетарскому» поэту, и петербуржанке Анне Радловой, известной впоследствии переводчице Шекспира. Но невключение их — особенно Казина, не оправдавшего возлагавшихся на него Святополк-Мирским ожиданий — более понятно, чем невключение Марины Цветаевой.

Кой-кого может удивить отсутствие в антологии еще двух видных поэтов того времени, бегло упоминаемых в предисловии: Владислава Ходасевича и Николая Клюева. В статье 1922 г. Святополк-Мирский ясно дает понять, почему его к ним не тянуло, какие «недочеты» он в них видел. Эта статья, написанная под первым впечатлением от начавших тогда доходить из России произведений новейшей поэзии, представляет вообще большой историко-литературный интерес и будет несомненно заслуживать включения в собрание литературно-критических статей Святополк-Мирского, когда оно будет издано.

В предисловии к антологии сам Святополк-Мирский называет и еще поэтов, которых он «пропустил», в том числе среди футуристов и других «левых», которые представлены в антологии только Маяковским, — Елену Гуро и Велемира Хлебникова. Для невключения последнего он дает особое объяснение: он признается, что до недавнего времени мало им интересовался, а затем, когда его «зачаровала эта странная смесь в одном лице гениальности и кретинизма», и он «спохватился», достать книги Хлебникова за рубежом оказалось невозможно. Может быть, несколькими годами позднее он и включил бы Хлебникова, но тогда он прибавил: «Впрочем, я думаю, что он все равно не вошел бы в Антоло-

гию; он стоит, по-видимому, вне начертанной мною кривой, или отходит от нее по касательной». В 1935 году, уже по возвращении в СССР, Святополк-Мирский напечатал небольшую статью (восемь страничек) о Хлебникове. В ней он писал: «Хлебников перестает быть поэтом для немногих. Он становится поэтом, нужным для многих. Надо больше делать, чем мы делали до сих пор, для популяризации и пропаганды этой замечательной поэзии». Статья эта тоже вошла в недавний советский сборник литературно-критических статей Святополк-Мирского.

* *
*

В заключение я хочу дать небольшую биографическую справку о Святополк-Мирском: многим нынешним русским читателям биография его совершенно неизвестна.

Князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский родился в 1890 г. в селе Гиевке Харьковской губернии. Отец его в 1904 г. стал одним из последних министров внутренних дел доконституционной России. Он пользовался либеральной репутацией и пробыл на своем посту недолго.

Д. П. учился на историко-филологическом факультете СПб. университета. Из статьи С. К. Маковского о поэте гр. В. А. Комаровском в книге «На Парнасе 'Серебряного века'» мы знаем, что Святополк-Мирский принимал участие в литературной жизни в Царском Селе. В 1911 г. он выпустил книжку «Стихотворения». Об этой книжке Н. Гумилев в статье в «Аполлоне», в которой он писал о двадцати книгах стихов

разных, большей частью неизвестных, поэтов, дал отзыв. Он писал: «Изящнее, новее, но все-таки в том же роде 'Стихотворения' князя Д. Святополк-Мирского. При чтении их возникает сомнение, не нарочно ли автор так сузил свой горизонт, отверг острые переживания и волнующие образы, полюбил самые невыразительные эпитеты, чтобы ничто не отвлекало мысль от главной смены отточенных и полнозвучных строк. Как будто он еще боится признать себя поэтом, и пока мне не хочется быть смелее его». Насколько мы знаем, после этого стихов Святополк-Мирский больше не писал, во всяком случае не издавал.

По окончании университета Святополк-Мирский служил в армии, в императорских стрелках. Первую мировую войну провел, по-видимому, на фронте, а после Октябрьской революции принял участие в Белом движении, поступив в Добровольческую Армию. В последней стадии гражданской войны в 1920 г. он оказался в Польше с посланным туда ген. Врангелем отрядом ген. Бредова. Покинув армию, он уехал в Афины, где находилась тогда часть его семьи. Оттуда, при содействии известного знатока России и переводчика русских поэтов Мориса Бэринга, который знал в России его семью, он переехал в Англию, где Бэринг рекомендовал его другому знатоку России, историку, сэру Бернарду Пэрсу, только что основавшему тогда в Лондоне Школу славяноведения. Туда Святополк-Мирский был приглашен лектором русской литературы. На этом посту он оставался до конца 1931/32 учебного года, когда, став еще в 1930 г. членом британской коммунистической партии, вынужден был, по-видимому, подать

в отставку. Летом или ранней осенью 1932 г. он стал советским гражданином (живя в Англии, он оставался до того бесподданным «беженцем») и уехал в Советский Союз.

За годы жизни в Англии он, кроме упомянутой выше двухтомной «Истории русской литературы» и печатаемой нами «Русской лирики», напечатал несколько книг и большое количество статей и в английских и во французских журналах (в том числе в таких известных, как редактировавшийся одним из крупнейших английских поэтов Т. С. Элиотом (с которым Святополк-Мирский был лично знаком) журнале “Critique”). В 20-х годах он печатался также и в русских зарубежных изданиях: в «Современных Записках», в «Звене», в газете «Дни», в сборниках евразийцев и в их журнале «Евразия»; а также был одним из редакторов журнала «Версты», который на деле оказался ежегодником (в 1926—1928 гг. вышло три номера), тоже склонявшегося к евразийству, но носившего преимущественно литературный характер и печатавшего также литературный материал из Советской России. Соредакторами Святополк-Мирского были два других евразийца: П. П. Сувчинский и С. Я. Эфрон, муж Марины Цветаевой.

К концу 20-х годов Святополк-Мирский стал проявлять определенные советские симпатии, называть себя марксистом-ленинистом и выпустил по-английски книгу о Ленине, а также написанную в советском духе «Социальную историю России». Перед самым отъездом в Россию он написал по-русски резко критическую книгу об английской интеллигенции, которая в 1935 г. была издана в Англии в переводе английского коммуниста Алека Брауна, а до того вышла в СССР.

Вернувшись в Россию, Д. П. принял активное участие в советской литературе, пользуясь первое время покровительством Максима Горького, тоже тогда не так давно вернувшегося из эмиграции. Здесь не место перечислять все его публикации тех лет — их было много, и они были разнообразны: он писал и о русской, и об иностранной литературе. Отметим, однако, нашумевшую статью «Проблема Пушкина» в пушкинском томе «Литературного Наследства» (1934), в которой он полемизировал с заостренной «марксистско-ленинской» позиции с советским пушкинистом Д. Д. Благим, а также резкую статью в «Литературной Газете» об одном романе правоверного советского писателя Александра Фадеева. Статья о Пушкине вызвала возмущение у многих советских литературоведов. Обе эти статьи несомненно сыграли роль в дальнейшей судьбе Святополк-Мирского, хотя в связи со статьей о Фадееве за него заступился Горький.

Святополк-Мирский был арестован, по-видимому, летом 1937 г., хотя возможно, что он вызывался на допросы и некоторое время находился под арестом и раньше. Во всяком случае летом 1935 г. он был еще на свободе, и с ним несколько раз встречался известный американский критик Эдмунд Вилсон, на которого большое впечатление произвела английская книга Святополк-Мирского о Пушкине: именно она пробудила в нем интерес к русской литературе и побудила заняться русским языком (позднее, в начале 40-х годов Вилсон дружил с В. В. Набоковым, которому очень помог с обоснованием в американской литературе; а еще позже, в 1948 г., он женился четвертым браком на полу-

русской по происхождению Елене фон Мумм: мать ее была урожденная Ольга Кирилловна Струве, двоюродная сестра моего отца.

О своих встречах со Святополк-Мирским Вилсон, сам тогда советофильствовавший и увлекавшийся Лениным (потом это с него сошло), интересно рассказал в 1955 г. в статье под заглавием «Товарищ князь», напечатанной в лондонском журнале "Encounter".

Еще раньше о более ранних встречах со Святополк-Мирским в Москве рассказал молодой тогда английский журналист, а впоследствии очень известный публицист и писатель Малколм Маггеридж (Muggeridge, р. 1903), сотрудник газеты "Manchester Guardian", выросший в социалистической семье и в окружении Фабианских социалистов и женившийся на племяннице Беатрисы Уэбб (или Вебб, как часто писалась по-русски эта фамилия), которая вместе со своим мужем Сиднеем была одним из идеологов английской Рабочей партии. В 1932 г., отчасти под влиянием Уэббов, увидевших тогда в советском режиме давно чаемое ими осуществление социализма и ставших своего рода «иконами» для большевиков, молодой Маггеридж решил отрясти от ног своих прах капиталистической Европы и переселиться в советский социалистический рай, в котором он, вслед за Уэббами, увидел будущее человечества. Он поехал туда в качестве корреспондента "Manchester Guardian". Но намерением его и его жены было остаться в Советской России навсегда. Они ликвидировали свое небольшое имущество в Англии, включая даже почти все книги. Сына своего они, правда, оставили в Англии в школе, но с твердым намерением выписать его к себе, как только сами

осядут и устроятся в Москве и примут советское гражданство. Эти намерения остались благими намерениями: разочарование в советском режиме наступило у них очень скоро, еще в Москве, хотя в своих корреспонденциях в газету Маггеридж должен был его сдерживать и камуфлировать. Это разочарование усилилось еще после того, как он совершил большую поездку по Союзу, побывал на Украине (и на Кавказе) и своими глазами увидел голод 1932—33 года. Даже при очень скромном знании языка, которого он раньше вообще не знал, ему понадобилось немного времени для того, чтобы у него открылись глаза, и он был одним из первых западных интеллигентов, сначала восторженно увлекшихся советским экспериментом, который проник в истинную сущность советского режима и на всю жизнь сохранил отрицательное отношение к советскому тоталитаризму. Меньше чем через два года Маггериджи вернулись на Запад — сперва жена, которая была на шестом месяце второй беременности, а потом и сам Малколм. Поселились они сначала в Швейцарии, где получили работу в одной туристической организации, связанной с английской Рабочей партией. Здесь Маггеридж написал книгу о своих московских переживаниях. Книга (она вышла в 1934 г.) называлась «Зима в Москве». Она была написана в полубеллетристической форме, как едкая сатира, в которой под вымышленными именами был выведен целый ряд подлинных персонажей: журналистические коллеги Маггериджа, представители советского Отдела печати (например, Уманский, впоследствии известный дипломат), наивные, легковерные, очень тогда многочисленные западные интеллигенты, слепо

увлекавшиеся советским «экспериментом» и совершенно в нем не разбиравшиеся. Их Маггеридж высмеивал особенно едко — в их числе, например, известного французского писателя Анри Барбюса, которого он вывел под именем Анри Бернуа, а потом так же зло и почти теми же словами изобразил под настоящим именем в первом томе своей автобиографии, вышедшем в 1972 г. под названием «Зеленая палочка», с цитатой из Толстого в виде эпиграфа.

Последняя глава «Зимы в Москве» и последняя глава «Зеленой палочки» носили одинаковое название: «Кто кого?», со ссылкой на знаменитую фразу Ленина. В этой главе в «Зиме в Москве» Маггеридж вывел, под именем «князя Алексея», Д. П. Святополк-Мирского, которого он немного знал еще в Лондоне, а теперь стал встречать в Москве. Встречи эти происходили главным образом на разных приемах для международных знаменитостей, которые тогда в большом числе паломничали в СССР: на этих приемах большевикам было лестно блеснуть настоящим, высокообразованным русским аристократом, владевшим несколькими языками и ставшим коммунистом.

В «Зиме в Москве» «князь Алексей» большой роли не играет. Изображен он довольно поверхностно (некоторая поверхностность налицо вообще во всей этой книге — первой книге Маггериджа) и зло — как человек, который «умудрился быть паразитом при трех режимах: аристократом при царизме; профессором при капитализме; пролетарским писателем при диктатуре пролетариата». (Правда, профессором в Англии Святополк-Мирский не был: он был только

лектором с довольно скромным окладом, как и я потом на его месте. Но у Маггериджа было довольно смутное представление о биографии Святополк-Мирского).

В одной сцене, на каком-то «литературном» собрании Маггеридж изобразил его в окружении каких-то восторженных девиц, которые спрашивают его, как это, мол, он, князь, аристократ, стал коммунистом. К ним присоединяется какой-то толстый, неприятного вида, с двойным подбородком, американский театральный критик. «Князь Алексей» сначала отмалчивается, а потом выпаливает: «Я коммунист из-за вас!» Девушки в восторге: «Он коммунист из-за нас», шепчут они. Американец спрашивает, можно ли ему цитировать эти слова его коллегам в США. «Нет!» отрезает «князь Алексей». Дальше Маггеридж пишет, что для «князя Алексея» диктатура пролетариата была принципом, законом, в который он верил. Он пришел к этому, как некоторые развратники кончают тем, что идут в монахи, а некоторые ученые и философы погружаются в Ветхий Завет. «Чем больше он ненавидел людей, тем более привлекательной казалась ему диктатура пролетариата, потому что единственно она открывает возможность очистить мир от людей, оставляя лишь принцип, существующий, как электричество, в пространстве. В начале было Слово, и в конце тоже Слово. Он хотел такого конца», писал Маггеридж. Так он воспринял тогда Святополк-Мирского, так понял его.

После этого он рассказывал, как тот персонаж (по фамилии Рэсби), под которым он как будто вывел себя, возвращался с «князем Алексеем» с собрания, и между ними произошел такой диалог:

«Я ненавижу диктатуру пролетариата», сказал Рэсби. «Не будьте дураком», сказал князь Алексей. «Я ненавижу диктатуру пролетариата», повторил Рэсби («зная, что я смешон», говорит он) и прибавил: «И вы тоже». «Князь Алексей приостановился», пишет Маггеридж. «Голос его звучал напыщенно и сухо. Он прокатился по молчавшей улице, пророча грядущую ярость. 'Скоро война. Европа катится в бездну. Вся, кроме России. После этого — великое завоевание, которое предсказывали Маркс и Ленин. Потом окончательная победа'». Именно после этих слов «князя Алексея» Рэсби принимает, по-видимому, решение вернуться в Англию. Вместе с тем он предлагает «князю Алексею» зайти к нему и выпить чего-нибудь. От последнего предложения «князь Алексей» отказывается, но спрашивает у Рэсби, не мог ли бы он принять у него ванну, так как там, где он живет, ванной нет. (Я помню, как, когда я в первый раз встретился с Маггериджем у Н. А. Дэддингтон, дочери А. И. Эртеля, с которой был знаком мой отец и с которой я познакомился еще в 1916 году, когда в первый раз побывал в Англии, Маггеридж рассказывал именно об этой встрече со Святополк-Мирским). Рэсби смотрит, как «князь Алексей» вытирается после ванны, и его поражает контраст между телом его, белым и нежным, как у мальчика, и головой, мятой и потрепанной и как бы не принадлежащей к телу, «точно старый, изношенный капот на новом автомобиле».

Рэсби-Маггеридж спрашивает «князя Алексея», верит ли он на самом деле в доброкачественность ужасных советских пьес, пустых советских лозунгов и затхлых и притом плохо понимаемых идей и некоторых других вещей. «Князь

Алексей» отвечает: «Вы ничего не понимаете: пьесы и люди, и вожди, и здания, и лозунги тут ни при чем. Они не имеют никакого значения». А на вопрос, что же имеет значение, «князь Алексей» отвечает: «Неизбежность всего этого. Что это должно было произойти. Взаимодействующие силы, которые порождают равнодействующую». От себя Рэсби или автор еще раз резюмирует это так: «В начале было Слово — и в конце было Слово».

Мы не знаем, происходил ли этот разговор на самом деле. Вероятно, да. Ибо в вышедшем много лет спустя первом томе автобиографии Маггериджа, в главе о московском эпизоде в его жизни, озаглавленной, как я уже сказал, так же, как заключительная глава «Зимы в Москве», но написанной в совершенно другом ключе, Маггеридж, выводя Святополк-Мирского под его настоящим именем и рассказывая о разных встречах с ним, говорит, что тот не раз приходил к ним с женой на квартиру в Борисоглебском переулке брать ванну, и почти в тех же словах и описывает как тот после ванны вытирался и передает вышеприведенный разговор, сравнивая Святополк-Мирского с каким-то еврейским пророком, Иеремией или Исайей, провозглашающим: «Так говорил Господь!»

В этой книге, написанной уже после смерти Святополк-Мирского, он пишет о нем немного больше. Слова о нем, как «паразите под тремя режимами», он приписывает тут, однако, своему французскому коллеге Люсиани, корреспонденту газеты «Temps». На разных приемах, на которых он бывал, его, по словам Маггериджа, всего больше привлекало бесплатное шампанское — он любил выпить, а денег у него было мало.

Зарабатывал он главным образом статьями в «Литературной Газете», в которых, говорит Маггеридж, разносил на чем свет стоит современных английских писателей, особенно Д. Лоуренса, Т. С. Элиота и Олдуса Хаксли. В разговоре он двух последних, которых лично знал, называл: «Бедный Том» и «Бедный Олдус». Маггериджу это тогда нравилось. При этом он обнаруживает, что биография самого Святополк-Мирского не была ему хорошо известна. Он говорит, что после участия в Добровольческой Армии тот жил в Париже и исповедовал крайне правые взгляды. Потом переехал в Лондон, где стал «профессором» и где ему была заказана книга о Ленине. Работая над этой книгой, он стал видеть в Ленине «просвещенного спасителя» России — преобразование, говорит Маггеридж, которое было ознаменовано тем, что на обложках книг его этого периода его княжеский титул перечеркивался красной чертой. (Кажется, был один такой случай, но маггериджевое обобщение неверно — свой княжеский титул и первую часть фамилии Святополк-Мирский отбросил в Англии задолго до того, как стал членом британской коммунистической партии. Британского подданства он не принимал). О таких книгах, как двухтомная «История русской литературы» и книга о Пушкине, т. е. о лучшем, что написано Святополк-Мирским по-английски, Маггеридж даже не упоминает.

Маггеридж рассказывает также в своей автобиографии об одной встрече для иностранных писателей в честь Федора Гладкова по случаю постановки его пьесы по роману «Цемент». На этой встрече, на которую Маггериджа затащил Святополк-Мирский, французский писа-

тель-коммунист Луи Арагон встал и объявил, что он только что получил сообщение из Парижа о том, что все французские сюрреалисты скопом вступили в коммунистическую партию. Заявление это было встречено шумными аплодисментами. Святополк-Мирский к этим аплодисментам не присоединился: по словам Маггериджа, он был страстно влюблен в жену Арагона, Эльзу Триоле, и не любил самого Арагона.

Резюмируя свои встречи со Святополк-Мирским, Маггеридж писал, что тот никогда не говорил с ним о том, как он расценивает свое возвращение в СССР. От себя Маггеридж писал: «Это было явно актом весьма неосторожным, и было ясно, что ему не нравится жить в Москве и общаться с советскими литераторами. В Лондоне его положение было весьма комфортабельным: как 'зачеркнутому' князю, ему было обеспечено общественное положение и в высшем свете и в кругах интеллигенции, не говоря о гостеприимном приеме на рабочих собраниях. Даже — а, может быть, и особенно — коммунисты рады были видеть князя рядом с собой, когда они собирались на Трафальгарской площади. В Москве же он зависел всецело от властей. Я не знаю, конечно, подумывал ли он когда-нибудь о том, чтобы бежать, но раз, когда мы вместе смотрели на карту, палец его остановился на Батуме, на турецкой границе, и задержался там».

То, что Маггеридж писал дальше, свидетельствует о том, что дальнейшая судьба Святополк-Мирского его не заинтересовала, и он не потрудился даже как следует выяснить ее. О конце Святополк-Мирского после его опалы он пишет глухо, по-наслышке, и неверно приписывает его

опалу тому, что он «очернил» Пушкина в угоду прежней партийной линии — в 1937 году, говорит он, в связи со столетним юбилеем. Услыхав о смерти Святополк-Мирского, он, по его словам, вспомнил формулу Люсиани.

До Москвы Маггеридж имел только смутное представление о Святополк-Мирском (его книгу о русской литературе он едва ли прочел). В Москве он встретился с ним в самом начале его советского медового месяца и, хотя и почувствовал — скорее, чем увидел, — начинавшееся уже в нем разочарование и кое-что в нем понял, по-настоящему он в нем не разобрался и прошел мимо его возвращенческой трагедии.

После ареста Святополк-Мирский был выслан в Сибирь, где первое время оставался как будто на свободе и даже сотрудничал в какой-то сибирской газете. Его друзья в Лондоне как будто еще получали тогда от него вести. Дальнейшие этапы его судьбы в точности неизвестны. В какое-то время он оказался на Колыме, в одном из магаданских лагерей, где и скончался в 1939 г. Точная дата смерти остается неизвестной, указывается только год. Перед смертью он тяжело болел — и физически, и душевно. Как писал одному знакомому один известный советский литературовед, сам долго просидевший на Колыме, но со Святополк-Мирским там не встречавшийся: «Он был глубоко подавлен всем, что с ним произошло после ареста его 'попечителей' — Ягоды и Авербаха (Горький умер раньше). Он бесконечно скорбел по поводу своего перехода в новую веру и приезда в Россию, проклинал коммунизм, издевался над своими иллюзиями. Много говорил о своих планах истории русской поэзии и верил, что останется жить. Умер он

мучительно — от пилагры особой формы (три “D” — distrophia, dementium и еще что-то). Под конец жизни, до болезни, он работал ночным сторожем при каких-то мастерских. Судьба его бумаг в Москве неизвестна. На Колыме же — все бумаги умерших уничтожались».

Был и рассказ о том, что, работая ночным сторожем, Святополк-Мирский работал над своей книгой о русской поэзии, цитируя наизусть сотни стихотворений. Память у него вообще, и особенно на стихи, была феноменальная.

Известно еще одно письмо о лагерных годах Святополк-Мирского, написанное одним вернувшимся в СССР ди-пи, который сидел в тех же лагерях и даже встречался там со Святополк-Мирским. Это письмо было напечатано Вилсоном (в не совсем точном переводе) в упомянутой статье, а потом Ю. П. Иваском по-русски в кн. 127 «Нового Журнала». Иваск получил письмо из того же источника, но о публикации Вилсона явно не знал. Автор этого письма писал: «В 1938 году в декабре месяце я, как инвалид, был привезен в инвалидный лагерь, находившийся в 23 километрах от города Магадана, где я встретил некоторых из московского этапа и мне сказали, что князь Д. Святополк-Мирский находится в этом же лагере в больничном бараке (у него было буйное помешательство). Я несколько раз просил разрешения зайти в больничный барак, но каждый раз мне отказывали в этом. Через несколько недель мне санитар сообщил, что князь Святополк-Мирский умер. Я предполагаю, что это было в конце января 1939 года (точно даты не помню)».

В статье о Святополк-Мирском в т. 4 «Краткой Литературной Энциклопедии», подписанной

Л. Н. Чертковым, который с тех пор эмигрировал, дана была обычная формула: «В 1937 был незаконно репрессирован; реабилитирован посмертно». А автор предисловия к «Литературно-критическим статьям» Святополк-Мирского (1978), М. Поляков, о репрессировании и о трагической смерти его не говорит ни слова. Советский период жизни Святополк-Мирского он рисует в идиллических тонах. Для него 1932—1937 годы — «один из самых важных периодов» в советской литературе. А положение Святополк-Мирского в ней «как самостоятельного и деятельного критика», оказывается, «еще более укрепилось» в эти годы.

Глеб Струве



РУССКАЯ ЛИРИКА

МАЛЕНЬКАЯ АНТОЛОГИЯ

О Т Ъ

ЛОМОНОСОВА до ПАСТЕРНАКА.

СОСТАВИЛЪ

Кн. Д. СВЯТОПОЛКЪ-МИРСКІЙ.

ПАРИЖЪ

1924

Посвящается А. С.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

I.

Я не стану (боясь празднословья) настаивать здѣсь на объективности моей антологіи, ни даже на моемъ стараніи сдѣлать ее объективной. Это было бы и не вѣрно и не умно. Тѣ, кто когда-нибудь занимались методологіей точныхъ наукъ, знаютъ, какъ великъ и какъ неизбѣженъ элементъ субъективности даже въ естественнонаучныхъ обобщеніяхъ. Всякое утвержденіе есть обобщеніе, всякое обобщеніе — искаженіе. Такъ во всѣхъ областяхъ знанія; тѣмъ болѣе въ исторіи литературы, гдѣ нѣтъ ни научно-установленной терминологіи, гдѣ даже элементарнѣйшія части сужденія не могутъ избѣжать метафоричности и иносказанія, гдѣ еще недавно считалось возможнымъ обходиться вообще безъ метода, и гдѣ говорить по крайнему разумѣнію «внутренняго чувства» будетъ всегда трудно одолимымъ соблазномъ.

Есть, однако, какъ мнѣ кажется, мѣра и въ субъективности. Если всякое познаніе есть искаженіе, пусть оно стремится уподобиться *правильно* искажающему зеркалу, дающему возможность всегда ввести опредѣленную поправку. Еще можно уподобить антологію картѣ, которая, какъ извѣстно, можетъ быть

начерчена только благодаря сознательному искаженію, именуемому проекціей, ибо кривизна земли не можетъ быть иначе перенесена на плоскую поверхность бумаги. Чего я, дѣйствительно, избѣгалъ въ моей антологіи, это — случайности. Я хотѣлъ ее сдѣлать вродѣ кривой, представляющей хаотическую сложность для неопытнаго глаза, но могущей быть рассчитанной съ точностью по самому короткому отрѣзку. Я и представлялъ себѣ мою Антологію цѣльнымъ, внутренне логическимъ единствомъ, въ которомъ и Ломоносовскій Іовъ, и гитара Аполлона Григорьева, и Есенинскій жеребенокъ являются необходимыми и взаимно-обусловленными подробностями. Удалось ли это мнѣ — судить, конечно, не мнѣ. Но я надѣюсь, что та линія, которую я, навѣрно не безъ ошибокъ, рассчиталъ и начертилъ, — не всѣмъ моимъ читателямъ покажется случайной. Объяснять, въ чемъ смыслъ этой линіи — я не буду, каждая вещь можетъ быть выражена только однимъ образомъ и описывать ее было бы такимъ же пустословіемъ, какъ напри- мѣръ, «передать своими словами», «что хотѣлъ выразить Пушкинъ своей Татьяной».

II.

Сперва у меня было намѣреніе предпослать Антологіи сжатый и содержательный очеркъ исторіи русской поэзіи. Потомъ мнѣ стало ясно, до какой степени это невозможно. И главныхъ причинъ этой невозможности двѣ: во первыхъ, недостаточная освѣдомленность (моя и моихъ современниковъ) во многихъ основныхъ вопросахъ этой исторіи; во вторыхъ,

принципіальная неадекватность поэтической Антлогіи исторіи поэзіи. Антологія подобна гипсографической картѣ; исторія — картѣ геологической. По картѣ высотъ не всегда возможно прослѣдить направленіе и строеніе складокъ: хребты уходятъ подъ уровень моря, и антиклинали скрываются подъ поверхностными образованіями. Такъ и въ исторіи литературы. Нашъ способный и самонадѣянный современникъ Викторъ Шкловскій хотѣлъ даже открыть въ этомъ общій законъ литературной эволюціи («канонизація младшихъ линій»). Закона тутъ, конечно, никакого нѣтъ (да и вообще, въ нашей наукѣ открыты, пока что, только мнимые законы), но явленіе это встрѣчается нерѣдко. Дѣло, однако, не только въ этомъ: каждая большая литературная школа (это не законъ, а эмпирическое обобщеніе) проходитъ какъ бы нѣкоторый періодъ утробной жизни, когда всѣ ея главныя тенденціи намѣчены, но ни одна не нашла себѣ убѣдительнаго выраженія. Такова эпоха предшественниковъ Ломоносова (Тредіаковскій); такова эпоха Карамзина, когда въ лирикѣ этого великаго писателя, Каменева, Андрея Тургенева были даны эмбрионы всего того, что должно было расцвѣсти у Жуковского; такова поэзія кружковъ «in der Stadt Moskau» (Клюшниковъ)—протоплазма изъ которой вырастетъ поэзія Серебряннаго Вѣка; таковы Минскій и Мережковскій — эпигоны 80-ыхъ годовъ по трупамъ которыхъ прослѣдовали къ побѣдѣ символисты. Есть еще область несовпаденія точки зрѣнія антологиста и точки зрѣнія историка: ибо есть двѣ исторіи литературы: творческая и воспринимательская. Иные поэты, имѣвшіе въ свое время огромный успѣхъ, почти исчезли изъ нашего поля воспріятія: историкъ не можетъ

ихъ обойти, критикъ не имѣетъ для нихъ добраго слова. Такія оцѣнки еще могутъ измѣниться и теперь уже неясно, не найдется ли у насъ больше гостепріимства для Бенедиктова, чѣмъ оказывали ему XIX вѣкъ и символисты (Б. Садовской); въ антологіи большаго объема нашлось бы мѣсто, можетъ быть, и для Игоря Сѣверянина. Но мнѣ надо сдѣлать большое усиліе воли и полную переоцѣнку цѣнностей для того, чтобы принять, скажемъ, Ростопчину или Подолинскаго, Плещеева, Апухтина или Надсона. И, однако, описывая эти явленія *исторически*, не трудно было бы указать, что именно привлекало въ нихъ современниковъ.

Что же касается другой причины, побудившей меня отказаться отъ историческаго введенія, она достаточно понятна всякому, кто надъ этимъ останавливался. Несмотря на огромную и цѣнную работу, сдѣланную въ этомъ направленіи за послѣдніе годы, слишкомъ многое остается не вскрытымъ. Многое, временно принятое въ науку, представляется очень спорнымъ, и даже тамъ, гдѣ мнѣ кажется, что я что-то знаю — въ условіяхъ краткаго введенія пришлось бы излагать догматически и бездоказательно взгляды, которые показались бы устарѣлыми и опровергнутыми, или парадоксальными и невѣроятными. Поэтому я заставилъ себя нѣкоторыми изъ моихъ мнѣній и взглядовъ пожертвовать, другіе же, въ болѣе или менѣе случайной и несвязанной формѣ, перенести въ примѣчанія, которыхъ никто читать не будетъ и гдѣ ихъ никто не приметъ за что-нибудь большее, чѣмъ они на самомъ дѣлѣ есть.

III.

Но, отказавшись отъ историческаго введенія, мнѣ хочется въ этомъ предисловіи всетаки сдѣлать нѣсколько замѣчаній по существу: устроить маленькій Salon des Réfusés, или, если угодно, присужденіе утѣшительныхъ призовъ, тѣмъ болѣе, что иныхъ поэтовъ я отвергъ не безъ сожалѣнія и только потому, что надо гдѣ-то провести черту. О двухъ родахъ непринятыхъ мною поэтовъ я уже упоминалъ: одни — это историческіе дѣятели поэтической эволюціи отъ Тредіаковскаго до Мережковскаго, не поднявшіеся до самоцѣннаго творчества; другіе -- «поэты на часъ», ключъ къ сочувствію которымъ для насъ (пока) безвозвратно потерянь. Затѣмъ я ограничилъ свою область *новой* русской поэзіей, исключивъ изъ нея такимъ образомъ «среднее російское стихотворство» — поэтовъ, писавшихъ силлабическимъ стихомъ. Изъ нихъ Кантемиръ не былъ лирикомъ, а остальныхъ я недостаточно знаю, но есть, напр., у Феофана Прокоповича стихи, достойные и строгой антологіи. Изъ поэтовъ позднѣйшаго XVIII вѣка я не жалѣю объ отсутствіи Богдановича, наименѣе для меня пріятнаго изъ нашихъ классиковъ. Гораздо больше недостаетъ мнѣ: Радищева, въ которомъ уважаю автора не пресловутаго *Путешествія*, но прелестныхъ *Сафическихъ Строфъ*; кн. И. М. Долгорукаго (первый русскій поэтъ, возставшій противъ поэтичности, любопытнѣйшій продуктъ старо-дворянской культуры) и двухъ замѣчательныхъ эпигоновъ русскаго классицизма — Семена Боброва и кн. Ширинскаго Шихматова (іеросхимонахъ Аникита), изъ котораго такія прекрасныя и силь-

ныя цитаты приведены С.Т. Аксаковымъ въ его воспоминаніяхъ объ Адмиралѣ Шишковѣ.

Карамзинъ и Каменевъ не были большими поэтами, но Андрей Тургеневъ, умирая 22-хъ лѣтъ, писалъ стихи лучше, чѣмъ 20-лѣтній Жуковскій. Колебался я и насчетъ Гнѣдича, восьмистишіе котораго на смерть молодой дѣвицы («Цвѣла и блистала») я, исключивъ, продолжаю оплакивать. Изъ современниковъ Пушкина особенно будетъ замѣтно отсутствіе Кюхельбекера. На этомъ до сихъ поръ недооцѣненномъ писателѣ особенно ясно, что грѣхомъ русской исторіи литературы были не ея тенденціозность, а ея поэтическая глухота: и Кюхельбекеръ и Одоевскій были декабристы, но интеллигентская критика приняла второго за *общее выраженіе* его лица, и отвергла перваго за *необщее*. До такой степени онъ былъ отвержень, что это былъ единственный декабристъ, о которомъ, начиная еще съ Бѣлинскаго *), считалось приличнымъ писать въ тонѣ издѣвательства. Изъ другихъ эксцентриковъ этого времени я радъ возможности представить великолѣпнаго въ своемъ одиночествѣ, автора «ухарскихъ псалмовъ» Федора Глинку. Пѣсни Цыганова такъ мало «литературны», что скорѣе принадлежатъ къ исторіи народной пѣсни (въ противоположность Кольцову). Вельтманъ, и Бестужевъ, авторъ прекрасныхъ *Смертныхъ Пѣсенъ* изъ *Амалатъ Бека*; Катенинъ, авторъ *Ольги*, и Грибоѣдовъ (*Хищники на Чегемѣ*), всѣ только случайные захожіе въ садахъ лирической поэзіи. Меньше сожалѣю я объ отсутствіи множества эпигоновъ — однообразныхъ и холодныхъ — несмотря на акробатическое искусство

*) См. его рецензію на *Ижорскаго* (1835).

Бенедиктова, солидное мастерство ученика Дельвига Деларю, и смѣлая исканія новаго у Соколовскаго.

Изъ болѣе извѣстныхъ поэтовъ *Серебрянаго Вѣка* я не включилъ Щербину и Мея, и думаю, что знающіе ихъ меня не осудятъ. Скорѣе можно пожалѣть объ отсутствіи Ивана Аксакова и Жемчужникова, двухъ честныхъ публицистовъ, пошедшихъ дальше Некрасова по пути депоэтизаціи поэзіи и ближе всѣхъ подошедшихъ къ созданію хорошей прикладной поэзіи.

Слѣдуя хронологическому порядку рожденій поэтовъ, мы приходимъ къ 1825 г., году рожденія Плещеева, который вводитъ насъ въ подлинную Сахару поэтической бездарности и некультурности. Въ ней, кромѣ счастливыхъ оазисовъ Случевского и Соловьева, есть нѣсколько, только на ея фонѣ замѣтныхъ, уединенныхъ колодцевъ: симбирскій поэтъ Садовниковъ, авторъ знаменитаго *Стеньки Разина*, и другихъ, лучшихъ, стихотвореній; гр. Г.-Кутузовъ, холодный эпигонъ, казавшійся глухому поколѣнію преемникомъ Пушкина; англо-итальянецъ Бутурлинъ, такъ никогда и ненаучившійся говорить по-русски; птичка Божія, пріятный, но беспомощный Фофановъ; слишкомъ замѣтные миражи Апухтина и Надсона, наконецъ, очень сухія, но уже предъ-суданскія степи Минскаго и Мережковскаго.

Изъ старшихъ символистовъ*), если бы я руководствовался только расчетомъ на собственное удовольствіе, я бы, можетъ быть, скорѣй чѣмъ Бальмонта и Брюсова

*) Изъ поэтовъ 90-хъ не примкнувшихъ къ символизму — Лохвицкая, конечно, не стоитъ вниманія; что же касается Бунина, то его стихи можно разсматривать только какъ «стилистическія упражненія» очень большого прозаика.

включилъ Коневскаго и А. Добролюбова, но пока я ихъ оставляю въ моемъ резервѣ: прекрасная корявость Коневскаго и серафическая легкость *Книги Невидимой* еще могутъ пригодиться. Что же касается до Балтрушайтиса, какъ бы мнѣ ни хотѣлось, изъ имперіалистическихъ соображеній, чтобы литовскій посланникъ въ Москвѣ былъ великимъ русскимъ поэтомъ, я не могъ найти для него мѣста. Есть зато другой прекрасный поэтъ, близкій къ символистамъ и Анненскому, которымъ я поступился очень нехотя—гр. Василій Комаровскій, поэтъ, конечно, не своевременный, но сулящій большія радости для того, кто его откроетъ. Изъ эпигоновъ символизма у меня никого нѣтъ; нѣтъ ни Городецкаго, ни Клюева. Скорѣе могли бы присутствовать Вл. Ходассевичъ, своеобразно возродившій культуру поэтическаго остроумія и *poïnte* на почвѣ мистическаго идеализма; и Марина Цвѣтаева, талантливая, но безнадежно распущенная москвичка.

Изъ Петербуржцевъ-акмеистовъ я, кажется, никого существеннаго не пропустилъ. Хуже обстоитъ дѣло съ футуристами и другими «лѣвыми»: изъ ихъ *предшественниковъ* могла бы быть упомянута прочно забытая Елена Гуро. Но особенно замѣтно будетъ отсутствіе самого Предсѣдателя Земного Шара, Велемира Хлѣбникова. Признаюсь, я до недавняго времени мало имъ интересовался и теперь, когда меня зачаровала эта странная смѣсь въ одномъ лицѣ геніальности и кретинизма, то, что Маяковскій зоветъ его «тихою геніальностью», это упорное и упрямое гробокопательство и вивисекція языка — теперь, когда я спохватился — достать его книги не оказалось возможнымъ. Впрочемъ, я думаю, что онъ все равно

не вошелъ бы въ Антологію; онъ стоитъ, повидимому, внѣ начерченной мною кривой, или стходить отъ нея по касательной.

Антологія моя кончается Пастернакомъ, поэтомъ молодымъ, но уже, по крайней мѣрѣ въ профессиональныхъ кругахъ Москвы и Берлина, знаменитымъ. Что до остальной молодежи — то изъ Петербуржцевъ у меня ни о комъ не возникало сомнѣнія. Но изъ Москвичей можно было бы еще подумать объ Асѣевѣ, футуристѣ, близкому и къ Пастернаку и къ Маяковскому (къ сожалѣнію только очень не умномъ критикѣ) и особенно о свѣжемъ и своеобразномъ дарованьи Василя Казина, единственномъ талантливомъ «пролетарскомъ» поэтѣ; но книги его до меня еще не доходили.

IV.

Составляя эту антологію, я поставилъ себѣ нѣсколько формальныхъ правилъ: въ нее включена только лирика въ широкомъ, разговорномъ значеніи этого слова; только оригинальныя стихотворенія, только цѣлыя стихотворенія и только небольшія: самое длинное *19 октября 1825* имѣетъ 144 стиха. Такимъ образомъ, я не включалъ ни балладъ, отчего страдаютъ особенно Жуковскій и А. Толстой, ни явно пародическихъ и юморстическихъ стиховъ (опять А. Толстой), ни басенъ, ни переводовъ (а *Вакханка?*), отчего опять страдаетъ Жуковскій и отсутствуетъ Козловъ (*Не билъ барабанъ и Вечерній Звонъ!*), ни отрывковъ изъ поэмъ или большихъ стихотвореній, вродѣ *Водопада*.

Такой, какой она вышла, я отдаю эту Антологію на судъ возможныхъ читателей.

Quimper.

8 августа 1923 г.

*Вотъ нашъ патентъ на благородство. —
Его даетъ намъ нашъ поэтъ.
Здѣсь мощной мысли превосходство,
Здѣсь утонченной жизни цвѣтъ.*

*Въ Сыртахъ не встрѣтишь Геликона,
На льдинѣ лавръ не расцвѣтетъ,
У Чукчей нѣтъ Анакреона,
Къ Зырянамъ Тютчевъ не придетъ.*

*Но муза, правду соблюдая,
Глядитъ — и на вѣсахъ у ней
Вотъ эта книга небольшая
Томовъ премногихъ тяжелей.*

Фетъ (Тютчеву).

ЛОМОНОСОВЪ.

1. *Ода, выбранная изъ Иова, глава 38, 39, 40 и 41.*

1

О ты, что въ горести напрасно
На Бога ропщешь, человекъ
Внимай, коль въ ревности ужасно.
Онъ къ Юву изъ тучи рекъ!
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь
градъ блистая
И гласомъ грома покрывая,
Словами небо колебаль,
И такъ его на распрю зваль.

2.

Збери свои всѣ силы нынѣ,
Мужайся, стой и дай отвѣтъ.
Гдѣ былъ ты, какъ я въ стройномъ чинѣ
Прекрасный сей устроилъ свѣтъ;
Когда я твердь земли поставилъ,
И сонмъ небесныхъ силъ прославилъ
Величество и власть мою?
Яви премудрость мнѣ свою!

3.

Гдѣ былъ ты, какъ передо мною
 Безчисленны тѣмы новыхъ звѣздъ,
 Моей возженныхъ вдругъ рукою
 Въ обширности безмѣрныхъ мѣстъ
 Мое Величество вѣщали;
 Когда отъ солнца возсіяли
 Повсюду новые лучи,
 Когда взошла луна въ ночи?

4.

Кто море удержалъ брегами
 И безднѣ положилъ предѣль,
 И ей свирѣпыми волнами
 Стремиться далѣ не велѣлъ?
 Покрытую пучину мглою
 Не я ли сильною рукою
 Открылъ и разогналъ туманъ,
 И съ суши здвигнулъ Океанъ?

5.

Возмогъ ли ты хотя однажды
 Велѣть ранѣе утру быть,
 И нивы въ день томящей жажды
 Дождемъ прохладнымъ напоить,
 Пловцу способный вѣтръ направить,
 Чтобъ къ пристани его поставить,
 И тяготу земли потряхнуть,
 Дабы безбожныхъ съ ней сопхнуть?

6.

Стремнинами путей ты разныхъ
 Прошоль ли моря глубину?
 И счель ли чудъ многообразныхъ
 Стада ходящія по дну?
 Отверзлись ли передъ тобою
 Всегдашнею покрыты тмою
 Со страхомъ смертныя врата?
 Ты сперь ли адовы уста?

7.

Стѣсня вихремъ облакъ мрачный,
 Ты солнце можешь ли закрытьъ,
 И воздухъ огустить прозрачный,
 И молнію въ дождѣ родить,
 И вдругъ быстротекущимъ блескомъ
 И горь сердца трясущимъ трескомъ
 Концы вселенной колебать
 И смертнымъ гнѣвъ свой возвѣщать?

8.

Твоей ли хитростью взлетаетъ
 Орель, на высоту паря,
 По вѣтру крыла простираетъ
 И смотритъ въ рѣки и моря?
 Отъ облакъ видитъ онъ высокихъ
 Въ водахъ и пропастьяхъ глубокихъ
 Что я ему на пищу далъ.
 Толь быстро око тыль создалъ?

9.

Воззри въ лѣса на бегемота,
 Что мною сотворень съ тобой;
 Колючей тернь его охота
 Безвредно попирать ногой.
 Какъ верви сплетены въ немъ жилы.
 Отвѣдай ты своей съ нимъ силы!
 Въ немъ ребра, какъ литая мѣдь;
 Кто можетъ рогъ его содрѣть?

10.

Ты можешь ли Левіаѳана
 На удѣ вытянуть на брегъ?
 Въ самой срединѣ Океана
 Онъ быстрой простираетъ бѣгъ;
 Свѣтящимися чешуями
 Покрѣтъ, какъ мѣдными щитами,
 Копье и мечъ и молотъ твой
 Щитаетъ за тростникъ гнилой.

11.

Какъ жерновъ сердце онъ имѣетъ,
 И зубы страшный рядъ серповъ:
 Кто руку въ нихъ вложить посмѣетъ?
 Всегда къ сраженію онъ готовъ;
 На острыхъ камняхъ возлегаетъ,
 И твердость оныхъ презираетъ,
 Для крѣпости великихъ силъ,
 Щитаетъ ихъ за мягкій иль.

12.

Когда ко брани устремится,
 То море, какъ котель кипить;
 Какъ печь, гортань его дымится,
 Въ пучинѣ слѣдъ его горить;
 Сверкають очи раздраженны,
 Какъ уголь въ горнилѣ разкаленный.
 Всѣхъ сильныхъ онъ страшить, гоня.
 Кто можетъ стать противъ меня?

13.

Обширнаго громаду свѣта
 Когда устроить я хотѣлъ,
 Просилъ ли твоего совѣта
 Для множества толикихъ дѣлъ?
 Какъ персть я взялъ въ началѣ вѣка,
 Дабы создати человѣка,
 За чемъ тогда ты не сказалъ,
 Чтобъ видѣ иной тебѣ я далъ?

14.

Сіе, о смертный, разсуждая,
 Представь Зиждителю власть,
 Святую волю почитая,
 Имѣй свою въ терпѣньи часть.
 Онъ все на пользу нашу строить,
 Казнить кого, или покоить.
 Въ надеждѣ тяготу сноси,
 И безъ роптанія проси.

2. Пѣсня.

Тщетно я скрываю сердца скорби люты,
 Тщетно я спокойною кажусь:
 Не могу спокойной быть я ни минуты,
 Не могу, какъ много я ни тщусь.
 Сердце тяжкимъ стономъ, очи токомъ слезнымъ,
 Извлекають тайну муки сей:
 Ты мое старанье здѣлалъ бесполезнымъ:
 Ты, о хищникъ вольности моей.

Ввергнута тобою я въ сію злу долю,
 Ты спокойный духъ мой возмутилъ,
 Ты мою свободу премѣнилъ въ неволю,
 Ты утѣхи въ горестъ обратилъ:
 И къ лютѣйшей мукѣ ты тово не зная,
 Можетъ быть, вздыхаешь объ иной;
 Можетъ быть, бесплоднымъ пламенемъ згорая,
 Страждешь ею такъ, какъ я тобой.

Зрѣть тебя желаю, а узрѣвъ, мятуся,
 И боюсь, чтобъ взоръ не измѣнилъ:
 При тебѣ смущаюсь, безъ тебя крушуся,
 Что не знаешь, сколько ты мнѣ милъ:
 Стыдъ изъ сердца выгнать страсть мою стремится,
 А любовь стремится выгнать стыдъ:
 Въ сей жестокой брани мой разумокъ тмится,
 Сердце рвется, страдаетъ и горить.

Такъ изъ муки въ муку я себя ввергаю;
И хочу открыться и стыжусь,
И не знаю прямо я чево желаю,
Только знаю то, что я крушусь:
Знаю, что всемѣстно плѣнна мысль тобою,
Вображаетъ мнѣ твой милый зракъ;
Знаю, что вспаленной страстію презлою,
Мнѣ забыть тебя нельзя никакъ.

ДЕРЖАВИНЪ.

3. *На смерть князя Мецгерскаго.*

Глаголь времянь! металла звонь!
Твой страшный гласъ меня смущаетъ,
Зоветь меня, зоветь твой стонъ,
Зоветь — и къ гробу приближаетъ.
Едва увидѣлъ я сей свѣтъ,
Уже зубами смерть скрежещеть;
Какъ молніей, косою блещеть,
И дни мои, какъ злакъ, сѣчетъ.

Ничто отъ роковыхъ когтей,
Никая тварь не убѣгаетъ:
Монархъ и узникъ — снѣдь червей;
Гробницы злость стихій снѣдаетъ;
Зіяетъ Время славу стерть:
Какъ въ море льются быстры воды,
Такъ въ вѣчность льются дни и годы,
Глотаеть царства алчна Смерть.

Скользимъ мы бездны на краю,
Въ которую стремглавъ свалимся;
Приемлемъ съ жизнью смерть свою;
На то, чтобъ умереть, родимся;
Безъ жалости все Смерть разить:
И звѣзды ею сокрушатся,
И солнца ею потушатся,
И всѣмъ мірамъ она грозитъ.

Не мнить лишь смертный умирать
И быть себя онъ вѣчнымъ чаеть;
Приходитъ Смерть къ нему, какъ тать,
И жизнь внезапно похищаетъ.
Увы! гдѣ меньше страха намъ,
Тамъ можетъ смерть постичь скорѣе;
Ея и громы не быстрѣе
Слетаютъ къ гордымъ вышинамъ.

Сынъ роскоши, прохладъ и нѣгъ,
Куда, Мещерскій, ты сокрылся?
Оставилъ ты сей жизни брегъ,
Къ брегамъ ты мертвымъ удалился.
Здѣсь персть твоя, а духа нѣтъ.
Гдѣ жъ онъ? — Онъ тамъ. — Гдѣ тамъ? —
Не знаемъ!

Мы только плачемъ и взываемъ:
«О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!»

Утѣхи, радость и любовь
Гдѣ купно съ здравіемъ блистали,
У всѣхъ тамъ цѣпенѣетъ кровь
И духъ мятется отъ печали.

Гдѣ столь былъ яствъ, тамъ гробъ стоитъ;
Гдѣ пиршествъ раздавались лики,
Надгробные тамъ воють клики,
И блѣдна Смерть на всѣхъ глядитъ...

Глядитъ на всѣхъ — и на царей,
Кому въ державу тѣсны міры;
Глядитъ на пышныхъ богачей,
Что въ златѣ и сребрѣ кумиры;
Глядитъ на прелесть и красы,
Глядитъ на разумъ возвышенный,
Глядитъ на силы дерзновенны —
И точить лезвее косы.

Смерть, трепеть естества и страхъ!
Мы — гордость, съ бѣдностью совмѣстна:
Сегодня богъ, а завтра прахъ;
Сегодня льститъ надежда лестна,
А завтра — гдѣ ты, человѣкъ?
Едва часы протечь успѣли,
Хаоса въ бездну улетѣли,
И весь, какъ сонъ, прошелъ твой вѣкъ.

Какъ сонъ, какъ сладкая мечта,
Исчезла и моя ужъ младость;
Не сильно нѣжить красота,
Не столько восхищаетъ радость,
Не столько легкомысленъ умъ,
Не столько я благополученъ:
Желаніемъ честей разлученъ;
Зоветь, я слышу, славы шумъ.

Но такъ и мужество пройдетъ,
И вмѣстѣ къ славѣ съ нимъ стремленье,
Богатствъ стяжаніе минетъ,
И въ сердцѣ всѣхъ страстей волненье
Прейдетъ, преидетъ въ чреду свою.
Подите, счастья, прочь, возможны!
Вы всѣ премѣнны здѣсь и ложны:
Я въ дверяхъ вѣчности стою.

Сей день иль завтра умереть,
Перфильевъ! должно намъ, конечно:
Почто жъ терзаться и скорбѣть,
Что смертный другъ твой жилъ не вѣчно?
Жизнь есть небесъ мгновенный даръ;
Устрой ее себѣ къ покою,
И съ чистою твоей душою
Благословляй судьбъ ударъ.

4. Властителямъ и Судіямъ.

Возсталъ Всевышній Богъ, да судить
Земныхъ боговъ во сонмѣ ихъ.
«Доколь», рекъ «доколь вамъ будетъ
Щадить неправедныхъ и злыхъ?»

«Вашъ долгъ есть: сохранять законы,
На лица сильныхъ не взирать,
Безъ помощи, безъ обороны
Сиротъ и вдовъ не оставлять.

«Вашъ долгъ — спасать отъ бѣдъ невинныхъ,
Несчастливымъ подать покровъ;
Отъ сильныхъ защищать безсильныхъ,
Исторгнуть бѣдныхъ изъ оковъ».

Не внемлютъ! — видятъ и не знаютъ!
Покрыты мздою очеса:
Злодѣйства землю потрясаютъ,
Неправда зыблетъ небеса.

Цари! — я мнилъ: вы боги властны,
Никто надъ вами не судья;
Но вы, какъ я, подобно страстны,
И такъ же смертны, какъ и я.

И вы, подобно, такъ падете,
Какъ съ древь увядшій листь падеть:
И вы, подобно, такъ умрете,
Какъ вашъ послѣдній рабъ умреть!

Воскресни, Боже! Боже правыхъ!
И ихъ моленію внемли:
Приди, суди, карай лукавыхъ
И будь единъ царемъ земли!

5. Ласточка.

О домовитая ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь краснобѣла, косаточка,
Лѣтняя гостья, пѣвичка!

Ты часто по кровлямъ щебечешь;
Надъ гнѣздышкомъ сидя, поешь;
Крылышками движешь, трепещешь,
Колокольчикомъ въ горлышкѣ бьешь.
Ты часто по воздуху вьешься,
Въ немъ смѣлые круги даешь;
Иль стелешься долу, несешься,
Иль въ небѣ, прострися, плывешь.
Ты часто во зеркалѣ водномъ
Подъ рдяной играешь зарей,
На зыбкомъ лазурѣ бездонномъ
Тѣнью мелькаешь твоей.
Ты часто, какъ молнія, рѣешь
Мгновенно туды и сюды;
Сама за собой не успѣешь
Невидимы видѣть слѣды;
Но видишь тамъ всю ты вселенну,
Какъ будто съ высотъ на коврѣ:
Тамъ башню, какъ жаръ позлащенну,
Въ чешуйчатомъ флотѣ тамъ сребрѣ;
Тамъ рощи въ одеждѣ зеленой,
Тамъ нивы въ вѣнцѣ золотомъ,
Тамъ холмъ, синій лѣсъ отдаленный;
Тамъ мошки толкутся столпомъ,
Тамъ гнутся съ утеса въ понтъ воды,
Тамъ ластятся струи къ брегамъ.
Всю прелесть ты видишь природы,
Зришь лѣта роскошнаго храмъ;
Но видишь и бури ты черны,
И осени скучной приходъ,
И прячешься въ бездны подземны,
Хладѣя зимою какъ ледъ.

Во мракѣ лежишь бездыханна;
Но только лишь придетъ весна,
И роза вздохнетъ лишь румяна,
Встаешь ты отъ смертнаго сна;
Встанешь, откроешь зѣницы —
И новый лучъ жизни ты пьешь;
Сизы расправивъ косицы,
Ты новое солнце поешь.

Душа моя, гостя ты міра!
Не ты ли перната сія?
Воспой же безсмертіе, лира!
Востану, возстану и я;
Возстану — и въ безднѣ эфира
Увижу ль тебя я, Плѣнира?



6. Соловей во снѣ.

Я на холмѣ спалъ высокомъ,
Слышалъ гласъ твой, Соловей;
Даже въ самомъ снѣ глубокомъ
Внятенъ былъ душѣ моей!
То звучалъ, то отдавался,
То стеналъ, то усмѣхался,
Въ слухъ издавеча онъ, —
И въ объятіяхъ Калисты
Пѣсни, вздохи, клики, свисты
Услаждали сладкій сонъ.

Если по моей кончинѣ,
Въ скучномъ безконечномъ снѣ,
Ахъ! не будутъ такъ, какъ нынѣ,
Эти пѣсни слышны мнѣ,
И веселья и забавы
Плясокъ, ликовъ, звуковъ славы
Не услышу больше я:
Стану жъ жизнью наслаждаться,
Чаще съ милой цѣловаться,
Слушать пѣсни соловья.

7. Снигирь.

Что ты заводишь пѣсню военну,
Флейтѣ подобно, милый Снигирь?
Съ кѣмъ мы пойдемъ войной на гіену?
Кто теперь вождь нашъ? кто богатырь?
Сильный гдѣ, храбрый, быстрый Суворовъ?
Сѣверны громы въ гробѣ лежать.

Кто передъ ратью будетъ, пылая,
Ѣздить на клячѣ, ѣсть сухари;
Въ стужѣ и въ зноѣ мечъ закаляя,
Спать на соломѣ, бдѣть до зари:
Тысячи воинствъ, стѣнъ и затворовъ,
Съ горстью Россіянъ все побѣждать?

Быть вездѣ первымъ въ мужествѣ строгомъ;
Шутками зависть, злобу штыкомъ,
Рокъ низлагать молитвой и Богомъ;
Скиптры давая, зваться рабомъ;
Доблестей бывъ страдалецъ единыхъ,
Жить для царей, себя изнурять?

Нѣтъ теперь мужа въ свѣтѣ столь славна:
Полно пѣть пѣсню военну, Снигирь!
Бранна музыка днесь не забавна:
Слышенъ отвсюду томный вой лиръ;
Львинаго сердца, крыльевъ орлиныхъ
Нѣтъ уже съ нами! Что воевать?

КАПНИСТЪ.

8. Въ память Береста.

Здѣсь Берестъ древній, величавый,
Тягча береговой утесъ.
Стояль, какъ патріархъ древесъ;
Краса онъ былъ и честь дубравы,
Надъ коею чело вознесъ.

Перуномъ, бурей пощаженный,
Вѣками онъ свой вѣкъ счислялъ,
Но бодрость важную казалъ;
И вѣтви распротря зелены,
Весь берегъ тѣнью устилалъ.

Ахъ! Сколько кратъ въ дни лѣтня зноя,
Гнетомый скукой иль тоской,
Пришедъ подъ сводъ его густой,
Я сладкаго искалъ покоя,
И сладкій находилъ покой.

Отъ бури, отъ дождя, отъ града,
Онъ былъ надежный мой покровъ;

И мягче шелковыхъ ковровъ,
Въ тѣни, гдѣ стлалася прохлада,
Подъ нимъ коверъ мнѣ была готовъ.

Тамъ въ часъ священныхъ вдохновеній,
Внимать я гласу Музы мнилъ;
Мечтой себя тамъ часто льстиль,
Что Флакка добродушный геній
Надъ головой моею париль.

Мечты то были; — но мечтами
Не всѣ ль златятся наши дни?
Въ гостепріимной тамъ тѣни,
Подъ кровомъ Береста, часами
Мнѣ представлялися они.

Казалось дряхлостью сляченна
Меня онъ, старца, преживеть;
И въ кругъ многихъ, многихъ лѣтъ,
Отъ своего чела взнесенна
Надъ правнуками тѣнь простреть.

Но Псіоль, скопленными струями,
Когда весенній таялъ снѣгъ,
Усиля свой упорный бѣгъ,
Межъ преплетенными корнями,
Подъ Берестомъ смываетъ брегъ.

«Ужъ Берестъ клонится на воду,
«Подрывши берега крутизну;
«Ужъ смотреть въ мрачну глубину;
«И скоро въ бурну непогоду,
«Вверхъ корнемъ ринулся бѣ ко дну.

«Главой въ рѣку бѣ онъ погрузался,
«И съ иломъ тамъ сгустя песокъ,
«Свободный воспятилъ бы токъ;
«Объ вѣтви бѣ легкой чолнъ разбился».
Пришелъ и твой, о Берестъ! рокъ.

У корня ужъ лежитъ сѣкира! —
О, скорбь! — Но чѣмъ перемѣнить? —
Злой рокъ рѣшилъ тебя истнить,
Тебя, невинный житель міра,
И мнѣ твоимъ убійцей быть! —

Прости жъ, прямой мой покровитель,
Теперь — лишь жалости предметъ!
Прости; — и мой ужъ часъ грядеть:
Твой гость, невольный твой губитель,
Тебя не долго преживеть.

Но рокъ насъ не разлучить вѣчно:
Ты часто мнѣ дарилъ покой, —
Въ тебѣ жъ — и прахъ почиетъ мой:
Скончавъ путь жизни скоротечной,
Покроюся — твоей доской.

ДМИТРИЕВЪ.

9. Пѣсня.

Ахъ! когда бѣ я прежде знала,
Что любовь родить бѣды:
Веселясь бы не встрѣчала
Полуночныя звѣзды!

Не лила бѣ отъ всѣхъ украдкой
Золотого я кольца;
Не была бѣ въ надеждѣ сладкой
Видѣть милаго льстеца!

Къ удаленію удара
Въ лютой, злой моей судьбѣ
Я слила бѣ изъ воска яра
Легки крылышки себѣ,
И на родину вспорхнула
Мила друга моего;
Нѣжно, нѣжно бы взглянула
Хоть однажды на него.

А потомъ бы улетѣла
Со слезами и тоской;
Подгорюнившись бы сѣла
На дорогѣ я большой;
Возрыдала бѣ, возопила,
Добры люди! какъ мнѣ быть?
Я невѣрнаго любила...
Научите не любить...

ЖУКОВСКІЙ

10. Пѣсня.

Минувшихъ дней очарованье,
Зачѣмъ опять воскресло ты?
Кто разбудилъ воспоминанье
И замолчавшія мечты?

Шепнулъ душѣ привѣтъ бывалой;
Душѣ блеснулъ знакомый взоръ;
И зримо ей минуту стало
Незримое съ давнишнихъ поръ.

О милый гость, святое *Прежде*,
Зачѣмъ въ мою тѣснисься грудь?
Могу ль сказать: *живи*, надеждѣ?
Скажу ль тому, что было: *будь*?
Могу ль узрѣть во блескѣ новомъ
Мечты увядшей красоту?
Могу ль опять одѣть покровомъ
Знакомой жизни наготу?

Зачѣмъ душа въ тотъ край стремится,
Гдѣ были дни, какихъ ужъ нѣтъ?
Пустынный край не населится;
Не узритъ онъ минувшихъ лѣтъ;
Тамъ есть *одинъ* жилецъ безгласный,
Свидѣтель милой старины;
Тамъ вмѣстѣ съ нимъ всѣ дни прекрасны
Въ единый гробъ положены.

II. Весеннее Чувство.

Легкій, легкій вѣтерокъ,
Что такъ сладко, тихо вѣешь?
Что играешь, что свѣтлѣешь,
Очарованный потокъ?

Чѣмъ опять душа полна?
Что опять въ ней пробудилось?
Что съ тобой къ ней возвратилось,
Перелетная весна?

Я смотрю на небеса...
Облака, летя, сіяють,
И, сіяя, улетають
За далекіе лѣса.

Иль опять отъ вышины
Вѣсть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голосъ старины?

Или тамъ, куда летить
Птичка, странникъ поднебесный,
Все еще сей неизвѣстный
Край *желаннаго* сокрытъ?...

Кто жъ къ невѣдомымъ брегамъ
Путь невѣдомый укажетъ?
Ахъ! найдется ль, кто мнѣ скажетъ,
Очарованное *Тамъ*?

12. 19-го Марта 1823.

Ты предо мною
Стояла тихо,
Твой взоръ унылый
Быль полонъ чувствъ.

Онъ мнѣ напомнилъ
О миломъ прошломъ;
Онъ былъ послѣдній
На здѣшнемъ свѣтѣ.

Ты удалилась,
Какъ тихій ангелъ;
Твоя могила,
Какъ рай спокойна.
Тамъ всѣ земныя
Воспоминанья,
Тамъ всѣ святыя
О небѣ мысли.

Звѣзды небесъ!
Тихая ночь!

БАТЮШКОВЪ.

13. Выздоровленіе.

Какъ ландышъ подъ серпомъ убійственнымъ жнеца
Склоняетъ голову и вянетъ:
Такъ я въ болѣзни ждалъ довременно конца,
И думалъ: Парки часъ настанетъ.
Ужъ очи покрывалъ Эреба мракъ густой,
Ужъ сердце медленнѣе билось:
Я вянулъ, исчезалъ, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приближилась, о жизнь, души моей,
И алыхъ устъ твоихъ дыханье,

И слезы пламенемъ сверкающихъ очей
И поцалуевъ сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милыхъ словъ
Меня изъ области печали,
Отъ Орковыхъ полей, отъ Леты береговъ
Для сладострастїя призвали.
Ты снова жизнь даешь; она — твой даръ благой;
Тобой дышать до гроба стану.
Мнѣ сладокъ будетъ часъ и муки роковой:
Я отъ любви теперь увяну.

14. Вакханка.

Всѣ на праздникъ Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Вѣтры съ шумомъ разнесли
Громкій вой ихъ, плескъ и стоны.
Въ чашѣ дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней — она бѣжала
Легче серны молодой. —
Эвры волосы взвѣвали
Перевитые плющомъ;
Нагло ризы поднимали
И свивали ихъ клубкомъ.
Стройный станъ, кругомъ обвитый
Хмѣля желтаго вѣнцомъ,
И пылающи ланиты
Розы яркимъ багрецомъ
И уста, въ которыхъ таетъ
Пурпуровый виноградъ;

Все въ неистовой прельщаетъ!
Въ сердце льетъ огонь и ядъ!
Я за ней... она бѣжала
Легче серны молодой; —
Я настигъ; она упала!
И тимпанъ подъ головой!
Жрицы Вакховы промчались
Съ громкимъ воплемъ мимо насъ;
И по роцѣ раздавались
Эвоз! и нѣги гласъ!

15. Подражанія древнимъ.

I.

Безъ смерти жизнь не жизнь, и что она? Сосудъ,
Гдѣ капля меду средѣ пустыни!
Величественъ сей понтъ! Лазурной царь пустыни,
О солнце, чудно ты среди небесныхъ чудъ!
И на землѣ прекраснаго столь много!
Но все поддѣльное иль втунѣ серебро...
Плачь, смертный, плачь! Твое добро
Въ рукѣ у Немезиды строгой!

II.

Скалы чувствительны къ свирѣли;
Верблюды прислушивать умѣтъ пѣснь любви,
Стеня подъ бременемъ; румянѣ крови —
Ты видишь — розы покраснѣли
Въ долинѣ Іемена отъ пѣсней соловья...
А ты, красавица!... Не постигаю я.

III.

Взгляни: сей кипарисъ, какъ наша степь, бесплодень,
Но свѣжъ и зеленъ онъ всегда.
Не можешь, гражданинъ, какъ пальма дать плода?
Такъ буди съ кипарисомъ сходень:
Какъ онъ уединень, осанистъ и свободень!...

IV.

Когда въ страданіи дѣвица отойдетъ,
И трупъ синѣющей остынетъ,
Напрасно на него любовь и амвру льетъ,
И облакомъ цвѣтовъ окинетъ:
Блѣдна какъ лилія въ лазури васильковъ,
Какъ восковое изваянье.
Нѣтъ радости въ цвѣтахъ для вянущихъ перстовъ,
И суетно благоуханье.

ДЕНИСЪ ДАВЫДОВЪ.

16. Пѣсня Старого Гусара.

Гдѣ друзья минувшихъ лѣтъ,
Гдѣ гусары коренные
Предсѣдатели бесѣдъ,
Собутыльники сѣдые?

Дѣды! помню васъ и я,
Испивающихъ ковшами,
И сидящихъ вокругъ огня
Съ красносизыми носами!

На затылкѣ кивера,
Доломаны до колѣна,
Сабли, ташки у бедра,
И диваномъ — кипа сѣна.

Трубки черныя въ зубахъ;
Всѣ безмолвны — дымъ гуляетъ
На закрученныхъ вискахъ,
И усы перебѣгаетъ.

Ни полслова... Дымъ столбомъ...
Ни полслова... Всѣ мертвецки
Пьютъ, и преклонясь челомъ,
Засыпаютъ молодецки.

Но едва проглянетъ день,
Каждый по полю порхаетъ;
Киверь звѣрски на бекрень,
Ментикъ съ вихрями играетъ.

Конь кипитъ подъ сѣдокомъ,
Сабля свищетъ; врагъ валится...
Бой умолкъ — и вечеркомъ
Снова ковшикъ шевелится.

А теперь, что вижу? — Страхъ!
И гусары въ модномъ свѣтѣ,
Въ виць-мундирахъ, въ башмакахъ,
Вальсируютъ на паркетѣ!

Говорятъ умнѣй они...
Но что слышимъ отъ любова?
«Жомини, да Жомини!»
А объ водкѣ ни полслова.

Гдѣ друзья минувшихъ лѣтъ,
Гдѣ гусары коренные,
Предсѣдатели бесѣдъ,
Собутыльники сѣдые?

ФЕДОРЪ ГЛИНКА.

17. Пѣснь объ Ангелѣ.

Судъ мірамъ уготовляется,
Ходитъ Богъ по небесамъ:
Звѣздъ громада разступается
На просторъ Его вѣсамъ.

И слышавъ Бога, дальнія
Тучи Ангеловъ взвились,
Протѣснясь въ врата кристальныя,
Хоры съ пѣньемъ понеслись...

И мой Ангелъ охранительный,
Ужъ терявшій на землѣ
Блескъ небесный, блескъ плѣнительный,
Распустилъ свои крылѣ...

И судьбы земной подъ молотомъ,
Въ сторонѣ страстей и бурь,
Яркихъ крылѣ потускло золото,
Полиняла въ нихъ лазурь! —

Но какъ все перемѣнилось!!
Онъ на Бога посмотрѣлъ, —
И лице его свѣтилося,
И хитонъ его свѣтлѣлъ!

Ахъ, когда жъ жильцамъ юдольникамъ,
Возвратятъ полеть и намъ, —
И дадутъ земнымъ невольникамъ
Вольный доступъ къ небесамъ?!

ВЯЗЕМСКІЙ.

18.

Такъ изъ чужбины отдаленной
Мой стихъ искалъ тебя, Денись!
А ужъ тебя ждалъ неизмѣнной
Не виноградъ, а кипарись.

На мой привѣтъ отчизнѣ милой
Отвѣтомъ скорбный голосъ былъ,
Что свѣжей братскою могилой
Дополненъ рядъ моихъ могиль.

Искалъ я друга въ день возврата,
Но грустенъ былъ возврата день!
И собутыльника и брата
Одну я съ грустью обнялъ тѣнь.

Остыль поэта свѣтлый кубокъ,
Остыль и партизанскій мечъ;
Средь благовонныхъ чашъ и трубокъ
Ужъ не кипитъ живая рѣчь.

Съ нея не сыплятся какъ звѣзды,
Огни и вспышки острыхъ словъ
И рѣчь наѣздника — наѣзды
Не совершаетъ на глупцовъ.

Струей не льется вѣчно новой
Бивачныхъ повѣстей рассказъ
Про льды Финляндіи суровой,
Про огнедышущій Кавказъ,

Про годъ, запечатлѣнный кровью,
Когда подъ заревомъ Кремля,
Пылая мезтью и любовью,
Возстала Русская земля,

Когда принесши безусловно
Всѣ жертвы на алтарь родной —
Единодушно, поголовно
Народъ пошелъ на смертный бой.

Подъ твой рассказъ народной были,
Животрепещущій рассказъ,
Изъ гроба тѣни выходили
И блескъ ихъ ослѣплялъ нашъ глазъ.

Багратіонъ, Ахиллъ душою,
Кутузовъ, мудрый Одиссей,
Сеславинъ, Кульневъ, — простотою
И доблестью мужъ древнихъ дней.

Богатыри эпохи сильной,
Эпохи славной, васъ ужъ нѣтъ!
И вотъ сошелъ во мракъ могильной
Вашъ сослуживецъ, вашъ поэтъ!

Смерть сокрушила славы наши
И смотримъ мы съ слезой тоски
На опрокинутыя чаши,
На упраздненные вѣнки.

Зову, — молчить припѣвъ бывалый;
Ищу тебя, — но домъ твой пусть,
Не встрѣтитъ стихъ мой запоздалый
Улыбки охладѣвшихъ устъ.

Но пѣснь мою, души преданье
О свѣтлыхъ, безвозвратныхъ дняхъ,
Прими, Денисъ, какъ возлянье
На прахъ твой, сердцу милый прахъ!

ДЕЛЬВИГЪ.

19. *Успокоеніе.*

Въ моей крови
Огонь любви!
Вотще усилья,
Мой Гиппократъ!
Ужъ слышу — крылья
Тѣней шумять!
Ихъ зрю въ полетѣ!
Зовутъ, манятъ
Къ подземной Летѣ,
Въ безмолвный Адъ!

20. *На смерть Веневитинова.*

Дѣва.

Юноша милый! На мигъ ты въ наши игры вмѣшался!

Розѣ подобный красой, какъ Филомела ты пѣлъ.
Сколько любовь потеряла въ тебѣ поцѣлуевъ и пѣсенъ,
Сколько желаній и ласкъ новыхъ, прекрасныхъ,
какъ ты.

Роза.

Дѣва, не плачь! Я на прахѣ его въ красотѣ расцвѣтаю.

.Сладость онъ жизни вкусивъ, горечь оставилъ
другимъ.

Ахъ! и любовь бы измѣною душу пѣвца отравила

Счастливъ, кто прожилъ, какъ онъ, вѣкъ соловьиный
и мой.

ПУШКИНЪ.

21. *Кривцову*

Не пугай насъ, милый другъ,
Гроба близкимъ новосельемъ:
Право, намъ такимъ бездѣльемъ
Заниматься не досугъ.
Пусть остылой жизни чашу
Тянетъ медленно другой;
Мы жъ утратимъ юность нашу
Вмѣстѣ съ жизнью дорогой;

Каждый у своей гробницы.
Мы присядемъ на порогъ,
У Пафосскія царицы
Свѣжій выпросимъ вѣнокъ,
Лишній мигъ у вѣрной лѣни,
Круговой нальемъ сосудъ,
И толпою наши тѣни
Къ тихой Летѣ убѣгутъ;
Смертный мигъ нашъ будетъ свѣтель,
И подруги шалуновъ
Соберутъ ихъ легкій пепель
Въ урны праздныя пировъ.

22. Ю-ву.

Любимецъ вѣтренныхъ Лаисъ,
Прелестный баловень Киприды —
Умѣй сносить, мой Адонисъ,
Ея минутныя обиды!
Она дала красы молодой
Тебѣ въ удѣлъ очарованье,
И черный усъ, и взглядъ живой,
Любви улыбку, и молчанье.
Съ тебя довольно, милый другъ!
Пускай, желаній пылкихъ чуждый,
Ты поцѣлуями подругъ
Не наслаждаешься, что нужды?
Въ чаду веселій городскихъ,
На легкихъ крыльяхъ Терпсихоры,
Къ тебѣ красавицъ молодыхъ
Летятъ задумчивые взоры. —

Увы! языкъ любви нѣмой,
Сей вздохъ души краснорѣчивой,
Быть долженъ сладокъ, милый мой,
Безпечности самолюбивой.
И счастливъ ты своей судьбой. —
А я — повѣса вѣчно праздный,
Потомокъ Негровъ безобразный,
Взрощенный въ дикой простотѣ,
Любви не вѣдая страданій,
Я нравлюсь юной красотѣ
Безстыднымъ бѣшенствомъ желаній.
Съ невольнымъ пламенемъ ланить,
Украдкой, Нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На Фавна иногда глядитъ.

23. Наполеонъ.

Чудесный жребій совершился:
Угасъ великій челоуѣкъ.
Въ неволѣ мрачной закатился
Наполеона грозный вѣкъ.
Исчезъ властитель осужденный,
Могучій баловень побѣдъ:
И для изгнанника вселенной
Уже потомство настаеть.

О ты, чьей памятью кровавой
Міръ долго, долго будетъ полнъ,
Пріосѣненъ твоею славой,
Почій среди пустынныхъ волнъ!

Великолѣпная могила...
Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ,
Народовъ ненависть почила,
И лучъ безсмертія горить.

Давно ль орлы твои летали
Надъ обезславленной землей?
Давно ли царства упали
При громахъ силы роковой?
Послушны волѣ своенравной,
Бѣдой шумѣли знамена,
И налагалъ яремъ державной
Ты на земныя племена.

Когда надеждой озаренный
Отъ рабства пробудился міръ,
И Галль десницей разъяренной
Низвергнулъ ветхій свой кумирь;
Когда на площади мятежной
Во прахъ царскій трупъ лежалъ,
И день великій, неизбѣжный
Свободы яркій день вставалъ;

Тогда въ волненьи бурь народныхъ,
Предвидя чудный свой удѣлъ,
Въ его надеждахъ благородныхъ
Ты человѣчество презрѣлъ,
Въ свое погибельное щастье
Ты дерзкой вѣровалъ душой,
Тебя плѣняло Самовластье
Разочарованной красой.

И обновленнаго народа
Ты буйность юную смирилъ;

Новорожденная свобода,
Вдругъ онѣмѣвъ, лишилась силъ.
Среди рабовъ до упоенья
Ты жажду власти утолилъ,
Помчалъ къ боямъ ихъ ополченья,
Ихъ цѣпи лаврами обвилъ.

И Франція, добыча славы,
Плѣненный устремила взоръ,
Забывъ надежды величавы,
На свой блистательный позоръ.
Ты вель мечи на пиръ обильный;
Все пало съ шумомъ предъ тобой:
Европа гибла — сонъ могильный
Носился надъ ея главой.

Сбылось! Въ величїи постыдномъ
Ступилъ на грудь ея колоссъ!
Тильзитъ — при звукѣ семь обидномъ
Теперь не поблѣднѣетъ Россъ —
Тильзитъ надменнаго героя
Послѣдней славою вѣнчалъ,
Но скучный миръ, но хладъ покоя
Счастливица душу волновалъ.

Надменный, кто тебя подвигнулъ?
Кто обуялъ твой дивный умъ?
Какъ сердца русскихъ не постигнулъ
Ты съ высоты отважныхъ думъ?
Великодушнаго пожара
Не предузнавъ, ужъ ты мечталъ,
Что мира вновь мы ждемъ, какъ дара;
Но поздно русскихъ разгадалъ...

Россія, бранная царица,
Вспомни древнія права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!
Настали времена другія:
Исчезни, краткій нашъ позоръ!
Благослови Москву, Россія!
Война: по гробъ нашъ договоръ.

Оцѣпенѣлыми руками
Схвативъ желѣзный свой вѣнецъ,
Онъ бездну видитъ предъ очами,
Онъ гибнетъ, гибнетъ наконецъ.
Бѣжать Европы ополченья;
Окровавленные снѣга
Провозгласили ихъ паденье,
И таетъ съ ними слѣдъ врага.

И все, какъ буря, закипѣло;
Европа свой расторгла плѣнь;
Вослѣдъ тирану полетѣло,
Какъ громъ, проклятiе племенъ.
И длань народной Немезиды
Подъяту видитъ великанъ:
И до послѣдней всѣ обиды
Отплачены тебѣ, тиранъ!

Искуплены его стяжанья
И зло воинственныхъ чудесъ
Тоскою душнаго изгнанья,
Подъ сѣнью чуждою небесъ.
И знойный островъ заточенья
Полнощный парусъ посѣтитъ,

И путникъ слово примиренья
На ономъ камнѣ начертить,

Гдѣ, устремивъ на волны очи,
Изгнанникъ помнилъ звукъ мечей,
И льдистый ужасъ полуночи,
И небо Франціи своей;
Гдѣ иногда, въ своей пустынѣ
Забывъ войну, потомство, тронъ,
Одинъ, одинъ о миломъ сынѣ
Въ уныньи горькомъ думалъ онъ.

Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣнчанную тѣнь!
Хвала!... Онъ русскому народу
Высокій жребій указаль,
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщаль.

24.

Ненастный день потухъ; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Какъ привидѣніе, за рощею сосновой
Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мнѣ наводитъ.
Далеко, тамъ, луна въ сіяніи восходитъ;
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой;
Тамъ море движется роскошной пеленой
Подъ голубыми небесами...

Вотъ время! по горѣ теперь идетъ она
Къ брегамъ, потопленнымъ шумящими волнами;
Тамъ, подъ завѣтными скалами,
Теперь она сидитъ печальна и одна...
Одна... никто предъ ней не плачетъ, не тоскуетъ;
Никто ея колѣнь въ забвеньи не цѣлуетъ;
Одна... ничьимъ устами она не предаетъ
Ни плечъ, ни влажныхъ устъ, ни персей бѣлоснѣжныхъ
.....
.....
.....
Никто ея любви небесной не достоинъ.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоенъ;
.....
Но если

25. Къ * * *

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Какъ мимолетное видѣнье,
Какъ геній чистой красоты.

Въ томленьяхъ грусти безнадежной,
Въ тревогахъ шумной суеты,
Звучалъ мнѣ долго голосъ нѣжной,
И снились милыя черты.

Шли годы. Бурь порывъ мятежный
Разсѣялъ прежнія мечты,
И я забылъ твой голосъ нѣжный,
Твои небесныя черты.

Въ глуши, во мракъ заточенья
Тянулись тихо дни мои
Безъ божества, безъ вдохновенья,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви.

Душѣ настало пробужденье:
И вотъ опять явилась ты,
Какъ мимолетное видѣнье,
Какъ геній чистой красоты.

И сердце бьется въ упоеньѣ,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

26. 19 Октября.

Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ,
Сребритъ морозъ увянувшее поле,
Проглянетъ день какъ будто по неволѣ,
И скроется за край окружныхъ горъ.
Пылай, каминъ, въ моей пустынной кельѣ;
А ты, вино, осенней стужи другъ,
Пролей мнѣ въ грудь отрадное похмѣлье,
Минутное забвенье горькихъ мукъ.

Печалень я: со мною друга нѣтъ,
Съ кѣмъ долгую запилъ бы я разлуку,
Кому бы могъ пожать отъ сердца руку
И пожелать веселыхъ много лѣтъ.

Я пью одинъ; вотще воображенье
Вокругъ меня товарищей зоветь;
Знакомое не слышно приближенье,
И милаго душа моя не ждетъ.

Я пью одинъ, и на брегахъ Невы
Меня друзья сегодня именуютъ...
Но многіе ль и тамъ изъ васъ пируютъ?
Еще кого не досчитались вы?
Кто измѣнилъ плѣнительной привычкѣ?
Кого отъ васъ увлекъ холодный свѣтъ?
Чей гласъ умолкъ на братской перекличкѣ?
Кто не пришелъ? Кого межъ вами нѣтъ?

Онъ не пришелъ кудрявый нашъ пѣвецъ,
Съ огнемъ въ очахъ, съ гитарой сладкогласной:
Подъ миртами Италиі прекрасной
Онъ тихо спитъ, и дружескій рѣзецъ
Не начерталъ надъ Русскою могилой
Словъ нѣсколько на языкѣ родномъ,
Чтобъ нѣкогда нашелъ привѣтъ унылой
Сынъ сѣвера, бродя въ краю чужомъ.

Сидишь ли ты въ кругу своихъ друзей,
Чужихъ небесъ любовникъ безпокойный?
Иль снова ты проходишь тропикъ знойный
И вѣчный ледъ полуночныхъ морей?
Счастливый путь!... Съ Лицейскаго порога
Ты на корабль перешагнулъ шутя,
И съ той поры въ моряхъ твоя дорога,
О волнъ и бурь любимое дитя!

Ты сохранилъ въ блуждающей судьбѣ
Прекрасныхъ лѣтъ первоначальны нравы:
Лицейскій шумъ, Лицейскія забавы
Средь бурныхъ волнъ мечталися тебѣ;
Ты простиралъ изъ-за моря намъ руку,
Ты насъ однихъ въ молодой душѣ носилъ
И повторялъ: *на долгую разлуку*
Насъ тайный рокъ, быть можетъ, осудилъ!

Друзья мои, прекрасенъ нашъ союзъ!
Онъ, какъ душа, нераздѣлимъ и вѣченъ —
Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ,
Сростался онъ подъ сѣнью дружныхъ музъ.
Куда бы насъ ни бросила судьбина,
И счастье куда бъ ни повело,
Все тѣ же мы: намъ цѣлый міръ чужбина;
Отечество намъ Царское Село.

Изъ края въ край преслѣдуемъ грозой,
Запутанный въ сѣтяхъ судьбы суровой,
Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой,
Уставъ, приникъ ласкающей главой...
Съ мольбой моей, печальной и мятежной,
Съ довѣрчивой надеждой первыхъ лѣтъ,
Друзьямъ инымъ душой предался нѣжной;
Но горекъ былъ небратскій ихъ привѣтъ.

И нынѣ здѣсь, въ забытой сей глуши,
Въ обители пустынныхъ вьюгъ и хлада,
Мнѣ сладкая готовилась отрада:
Троихъ изъ васъ, друзей моей души,

Здѣсь обнялъ я. Поэта домъ опальный,
О Пущинъ мой, ты первый посѣтилъ;
Ты усладилъ изгнанья день печальный,
Ты въ день его Лицея превратилъ.

Ты, Горчаковъ, счастливецъ съ первыхъ дней,
Хвала тебѣ — Фортуны блескъ холодной
Не измѣнилъ души твоей свободной:
Все тотъ же ты для чести и друзей.
Намъ разный путь судьбой назначенъ строгой;
Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встрѣтились и братски обнялись.

Когда постигъ меня судьбины гнѣвъ;
Для всѣхъ чужой, какъ сирота бездомной
Подъ бурею главой поникъ я томной,—
И ждалъ тебя, вѣщунъ Пермесскихъ дѣвъ,
И ты пришелъ, сынъ лѣни вдохновенный,
О Дельвигъ мой! твой голосъ пробудилъ
Сердечный жаръ, такъ долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословилъ.

Съ младенчества духъ пѣсенъ въ насъ горѣлъ,
И дивное волненье мы познали;
Съ младенчества двѣ музы къ намъ летали,
И сладокъ былъ ихъ лаской нашъ удѣлъ;
Но я любилъ уже рукоплесканья,
Ты гордый пѣлъ для музъ и для души;
Свой даръ какъ жизнь я тратилъ безъ вниманья,
Ты геній свой воспитывалъ въ тиши.

Служенье музъ не терпитъ суеты,
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность намъ совѣтуетъ лукаво,
И шумныя насъ радуютъ мечты...
Опомнимся — но поздно! и уныло
Глядимъ назадъ, слѣдовъ не видя тамъ.
Скажи, Вильгельмъ, не то ль и съ нами было,
Мой братъ родной по музѣ, по судьбамъ?

Пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ
Не стоитъ мѣрь; оставимъ заблужденья!
Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый другъ —
Приди, огнемъ волшебнаго разказа
Сердечныя преданья оживи;
Поговоримъ о бурныхъ дняхъ Кавказа,
О Шиллерѣ, о славѣ, о любви.

Пора и мнѣ... пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните жъ поэта предсказанье:
Промчится годъ, и съ вами снова я!
Исполнится завѣтъ моихъ мечтаній;
Промчится годъ, и я явлюся къ вамъ!
О, сколько слезъ, и сколько восклицаній,
И сколько чашъ, подъятыхъ къ небесамъ!

И первую полнѣй, друзья, полнѣй!
И всю до дна въ честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствуетъ Лицей!

Наставникамъ, хранившимъ юность нашу,
Всѣмъ честію, и мертвымъ и живымъ,
Къ устамъ подъявъ признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадимъ.

Пируйте же, пока еще мы тутъ!
Увы, нашъ кругъ часъ отъ часу рѣдѣеть;
Кто въ гробъ спитъ, кто дальній сиротѣтъ;
Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему...
Кому жъ изъ насъ подъ старость день Лицея
Торжествовать придется одному?

Несчастный другъ! средь новыхъ поколѣній
Доучный гость, и лишній, и чужой,
Онъ вспомнить насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рукой...
Пушкой же онъ съ отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведетъ,
Какъ нынѣ я, затворникъ вашъ опальной,
Его провелъ безъ горя и заботъ.

27. Пророкъ.

Духовной жаждою томимъ,
Въ пустынь мрачной я влачился,
И шестикрылой Серафимъ
На перепутьи мнѣ явился;
Перстами легкими какъ сонъ
Моихъ зѣницъ коснулся онъ:
Отверзлись вѣщія зѣницы,
Какъ у испуганной орлицы.

Моихъ ушей коснулся онъ,
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ:
И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полеть,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.
И онъ къ устамъ моимъ приникъ,
И вырвалъ грѣшной мой языкъ,
И празднословной и лукавой,
И жало мудрыя змѣи
Въ уста замершія мои
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И уголь, пылающій огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ въ пустынь я лежалъ,
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
«Возстань, Пророкъ, и виждь, и внемли
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей!»

28.

Не пой, красавица, при мнѣ
Ты пѣсень Грузіи печальной:
Напоминаютъ мнѣ онѣ
Другую жизнь и берегъ дальней.

Увы, напоминаютъ мнѣ
Твои жестокіе напѣвы
И степь, и ночь, и при лунѣ
Черты далекой, бѣдной дѣвы!...

Я призракъ милый, роковой,
Тебя увидѣвъ, забываю;
Но ты поешь — и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мнѣ
Ты пѣсень Грузіи печальной:
Напоминаютъ мнѣ онѣ
Другую жизнь и берегъ дальней.

29. *Воспоминаніе.*

Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день
И на нѣмыя стогны града
Полупрозрачная наляжетъ ночи тѣнь
И сонъ, дневныхъ трудовъ награда,
Въ то время для меня влачатся въ тишинѣ
Часы томительнаго бдѣнья:
Въ бездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ во мнѣ
Змѣи сердечной угрызенья;
Мечты кипятъ; въ умѣ, подавленномъ тоской,
Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ:
И, съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.

30. Предчувствіе.

Снова тучи надо мною
Собралися въ тишинѣ;
Рокъ завистливый бѣдою
Угрожаетъ снова мнѣ....
Сохраню ль къ судьбѣ презрѣнье?
Понесу ль навстрѣчу ей
Непреклонность и терпѣнье
Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Можетъ быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду...
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбѣжный, грозный часъ,
Сжать твою, мой ангелъ, руку
Я спѣшу въ послѣдній разъ.

Ангелъ кроткій, безмятежный,
Тихо молви мнѣ: прости,
Опечалься: взоръ свой нѣжный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Замѣнить душѣ моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юныхъ дней.

31. Анчаръ,
древо яда.

Въ пустынь чохлой и скупой,
На почвѣ, зноемъ раскаленной,
Анчаръ, какъ грозный часовой,
Стоить, одинъ во всей вселенной.

Природа жаждущихъ степей
Его въ день гнѣва породила,
И зелень мертвую вѣтвей
И корни ядомъ напоила.

Ядъ каплетъ сквозь его кору,
Къ полудню растопясь отъ зною,
И застываетъ ввечеру
Густой, прозрачною смолоу.

Къ нему и птица не летить,
И тигръ нейдетъ: лишь вихоръ черный
На древо смерти набѣжить —
И мчится прочь уже тлетворный.

И если туча оросить,
Блуждая, листь его дремучій,
Съ его вѣтвей ужъ ядовить
Стекаетъ дождь въ песокъ горючій.

Но человекъ человека
Послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ:
И тотъ послушно въ путь потекъ,
И къ утру возвратился съ ядомъ.

Принесъ онъ смертную смолу,
Да вѣтвь съ увядшими листьями,
И потъ по блѣдному челу
Струился хладными ручьями;

Принесъ — и ослабѣлъ, и легъ
Подъ сводомъ шалаша, на лыки,
И умеръ бѣдный рабъ у ногъ
Непобѣдимаго владыки.

А царь тѣмъ ядомъ напиталь
Свои послушливыя стрѣлы,
И съ ними гибель разослаль
Къ сосѣдямъ въ чуждые предѣлы.

32. Обваль.

Дробясь о мрачныя скалы,
Шумять и пѣняются валы,
И надо мной кричать орлы,
И ропщеть боръ,
И блещутъ средь волнистой мглы
Вершины горъ.

Оттоль сорвался разъ обваль,
И съ тяжкимъ грохотомъ упаль,
И всю тѣснину между скалъ
Загородилъ,
И Терека могучій валъ
Остановилъ.

Вдругъ, истощась и присмирѣвъ,
О Терекъ, ты прервалъ свой ревъ;
Но заднихъ волнъ упорный гнѣвъ
 Прошибъ снѣга...
Ты затопилъ, освирѣпѣвъ,
 Свои берега.

И долго прорванный обвалъ
Неталой грудю лежалъ,
И Терекъ злой подъ нимъ бѣжалъ,
 И пылью водъ,
И шумной пѣной орошалъ
 Ледяный сводъ.

И путь по немъ широкой шель:
И конь скакалъ, и влекся вошь,
И своего верблюда вель
 Степной купецъ,
Гдѣ нынѣ мчится лишь Эоль,
 Небесъ жилецъ.

33. Зимнее утро.

Морозъ и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, другъ прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты нѣгой взоры,
Навстрѣчу сѣверной Авроры,
Звѣздою сѣвера явись!

Вечоръ, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутномъ небѣ мгла носилась;
Луна, какъ блѣдное пятно,
Сквозь тучи мрачныя желтѣла,
И ты печальная сидѣла —
А нынче... погляди въ окно:

Подъ голубыми небесами,
Великолѣпными коврами,
Блестя на солнцѣ, снѣгъ лежитъ;
Прозрачный лѣсъ одинъ чернѣетъ,
И ель сквозь иней зеленѣетъ,
И рѣчка подо льдомъ блеститъ.

Вся комната янтарнымъ блескомъ
Озарена. Веселымъ трескомъ
Трещитъ затопленная печь.
Пріятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велѣтъ ли въ санки
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снѣгу,
Другъ милый, предадимся бѣгу
Нетерпѣливаго коня,
И навѣстимъ поля пустыя,
Лѣса, недавно столь густые,
И берегъ, милый для меня.

34. Къ Вельможъ

Отъ сѣверныхъ оковъ освобождая мѣръ,
Лишь только на поля, струясь, дохнетъ зефиръ,
Лишь только первая позеленѣтъ липа,
Къ тебѣ, привѣтливый потомокъ Аристиппа,
Къ тебѣ явлюся я; увижу сей дворецъ,
Гдѣ циркуль зодчаго, палитра и рѣзецъ
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные въ волшебствѣ состязались.

Ты понялъ жизни цѣль: счастливый человекъ,
Для жизни ты живешь. Свой долгій, ясный вѣкъ
Еще ты смолоду умно разнообразилъ,
Искалъ возможнаго, умѣренно проказилъ;
Чредою шли къ тебѣ забавы и чины.
Посланникъ молодой увѣнчанной Жены,
Явился ты въ Ферней — и Циникъ посѣдѣлый,
Умовъ и моды вождь проницательный и смѣлый,
Свое владычество на Сѣверѣ любя,
Могильнымъ голосомъ привѣтствовалъ тебя.
Съ тобой веселости онъ расточалъ избытокъ,
Ты лесть его вкусилъ, земныхъ боговъ напитокъ.
Съ Фернеемъ распростяся, увидѣлъ ты Версаль.
Пророческихъ очей не простирая вдаль,
Тамъ ликовало все. Армида молодая,
Къ веселью, роскоши знакъ первый подавая,
Не вѣдая, чему судьбой обречена,
Рѣзвилась, вѣтренымъ дворомъ окружена.
Ты помнишь Трианонъ и шумныя забавы?
Но ты не изнемогъ отъ сладкой ихъ отравы;
Ученье дѣлалось на время твой кумиръ:
Уединялся ты. За твой суровый пиръ

То читель Промысла, то скептикъ, то безбожникъ,
Садился Дидероть на шаткїй свой треножникъ,
Бросаль парикъ, глаза въ восторгѣ закрываль
И проповѣдываль. И скромно ты внималь
За чашей медленной аею иль деисту,
Какъ любопытный скиеъ аеинскому софисту.

Но Лондонъ зваль твое вниманіе. Твой взоръ
Прилежно разобраль сей двойственный соборъ:
Здѣсь натискъ пламенный, а тамъ отпоръ суровой,
Пружины смѣлыя гражданственности новой.

Скучая, можетъ быть, надъ Темзою скупой,
Ты думаль далѣ плыть. Услужливый, живой,
Подобный своему чудесному герою,
Веселый Бомарше блеснулъ передъ тобою.
Онъ угадалъ тебя: въ плѣнительныхъ словахъ
Онъ сталъ рассказывать о ножкахъ, о глазахъ,
О нѣгѣ той страны, гдѣ небо вѣчно ясно,
Гдѣ жизнь лѣнивая проходитъ сладострастно,
Какъ пылкїй, отрока восторговъ полный, сонъ;
Гдѣ жены вечеромъ выходятъ на балконъ,
Глядятъ и, не страшась ревниваго испанца,
Съ улыбкой слушаютъ и манятъ иностранца.
И ты, встревоженный, въ Севиллу полетѣлъ.
Благословенный край, плѣнительный предѣлъ!
Тамъ лавры зыблются, тамъ апельсины зрѣютъ...
О, расскажи жъ ты мнѣ, какъ жены тамъ умѣютъ
Съ любовью набожность умильно сочетать,
Изъ-подъ мантильи знакъ условный подавать;
Скажи, какъ падаетъ письмо изъ-за рѣшетки,
Какъ златомъ усыпленъ надзоръ угрюмой тетки;
Скажи, какъ въ двадцать лѣтъ любовникъ подъ
окономъ
Трепещеть и кипить, окутанный плащемъ.

Все измѣнилось. Ты видѣлъ вихорь бури,
Паденіе всего, союзъ ума и фурій,
Свободой грозною воздвигнутый законъ,
Подъ гильотиною Версаль и Трианонъ,
И мрачнымъ ужасомъ смѣненные забавы.
Преобразился міръ при громахъ новой славы.
Давно Ферней умолкъ. Пріятель твой Вольтеръ,
Превратности судебъ разительный примѣръ,
Не успокоившись и въ гробовомъ жилищѣ,
Донинѣ странствуетъ съ кладбища на кладбищѣ.
Баронъ д'Ольбахъ, Морле, Гальяни, Дидеротъ,
Энциклопедіи скептической причетъ,
И колкій Бомарше, и твой безносый Касти,
Всѣ, всѣ уже прошли. Ихъ мнѣнья, толки, страсти
Забыты для другихъ. Смотри: вокругъ тебя
Все новое кипитъ, бывшее истребятъ.
Свидѣтелями бывъ вчерашняго паденья,
Едва опомнились младыя поколѣнья.
Жестокихъ опытовъ собирая поздній плодъ,
Они торопятся съ расходомъ свестъ приходъ.
Имъ некогда шутить, обѣдать у Темиры,
Иль спорить о стихахъ. Звукъ новой, чудной лиры,
Звукъ лиры Байрона развлечъ едва ихъ могъ.

Одинъ все тотъ же ты. Ступивъ за твой порогъ,
Я вдругъ переносусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры, и картины,
И стройные сады свидѣтельствуютъ мнѣ,
Что благосклонствуешь ты музамъ въ тишинѣ,
Что ими въ праздности ты дышешь благородной.
Я слушаю тебя: твой разговоръ свободной
Исполненъ юности. Вліянье красоты
Ты живо чувствуешь. Съ восторгомъ цѣнишь ты

И блескъ Алябьевой, и прелесть Гончаровой.
Безпечно окружась Корреджіемъ, Кановой,
Ты, не участвуя въ волненіяхъ мірскихъ,
Порой насмѣшливо въ окно глядишь на нихъ
И видишь оборотъ во всемъ кругообразный.
Такъ, вихорь дѣлъ забывъ для музъ и нѣги праздной,
Въ тѣни порфирныхъ бань и мраморныхъ палатъ,
Вельможи римскіе встрѣчали свой закатъ.
И къ нимъ издалека то воинъ, то ораторъ,
То консуль молодой, то сумрачный диктаторъ
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься въ путь.

35.

Для береговъ отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
Въ часъ незабвенный, въ часъ печальной
Я долго плакалъ предъ тобой.
Мои хладѣющія руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшнаго разлуки
Мой стонъ молилъ не прерывать.

Но ты отъ горькаго лобзанья
Свои уста оторвала;
Изъ края мрачнаго изгнанья
Ты въ край иной меня звала.
Ты говорила: въ день свиданья
Подъ небомъ вѣчно-голубымъ,
Въ тѣни оливъ, любви лобзанья
Мы вновь, мой другъ, соединимъ.

Но тамъ, увы, гдѣ неба своды,
Сіяють въ блескѣ голубомъ,
Гдѣ подъ скалами дремлютъ воды,
Заснула ты послѣднимъ сномъ.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли въ урнѣ гробовой —
Исчезъ и поцѣлуй свиданья...
Но жду его: онъ за тобой!...

36. Полководецъ.

У Русскаго Царя въ чертогахъ есть палата:
Она не золотомъ, не бархатомъ богата,
Не въ ней алмазь вѣнца хранится за стекломъ;
Но сверху до низу, во всю длину, кругомъ,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисоваль художникъ быстроокій.
Тутъ нѣтъ ни сельскихъ Нимфъ, ни дѣвственныхъ
Мадонъ,
Ни Фавновъ съ чашами, ни полногрудыхъ женъ,
Ни плясокъ, ни охотъ: а все плащи, да шпаги,
Да лица, полныя воинственной отваги.
Толпою тѣсною художникъ помѣстилъ
Сюда начальниковъ народныхъ нашихъ силъ,
Покрытыхъ славою чудеснаго похода
И вѣчною памятью двѣнадцатаго года.
Нерѣдко медленно межъ ними я брожу,
И на знакомые ихъ образы гляжу,
И, мнится, слышу ихъ воинственные клики.
Изъ нихъ ужъ многихъ нѣтъ; другіе, коихъ лики
Еще такъ молоды на яркомъ полотнѣ,
Уже состарѣлись, и никнуть въ тишинѣ
Главою лавровой.

Но въ сей толпѣ суровой
Одинъ меня влечетъ всѣхъ больше. Съ думой новой
Всегда остановлюсь предъ нимъ, и не свожу
Съ него моихъ очей. Чѣмъ долѣе гляжу,
Тѣмъ болѣе томимъ я грустію тяжелой.

Онъ писанъ во весь ростъ. Чело, какъ черепъ голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Тамъ грусть великая. Кругомъ — густая мгла;
За нимъ — военный станъ. Спокойный и угрюмой,
Онъ, кажется, глядитъ съ презрительною думой.
Свою ли точно мысль художникъ обнажилъ,
Когда онъ таковымъ его изобразилъ,
Или невольное то было вдохновенье —
Но Доу далъ ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! суровъ былъ жребій твой:
Все въ жертву ты принесъ землѣ тебѣ чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
Въ молчаньи шель одинъ ты съ мыслию великой;
И въ имени твоёмъ звукъ чуждый не взлюбя,
Своими криками преслѣдуя тебя,
Народъ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался надъ твоей священной сѣдиною,
И тотъ, чей острый умъ тебя и постигаль,
Въ угоду имъ тебя лукаво порицалъ...
И долго, укрѣплень могущимъ убѣжденьемъ,
Ты былъ неколебимъ предъ общимъ заблужденьемъ;
И на полу-пути былъ долженъ, наконецъ,
Безмолвно уступить и лавровый вѣнецъ,
И власть, и замысль, обдуманнй глубоко,
И въ полковыхъ рядахъ сокрыться одиноко.

Тамъ, устарѣлый вождь, какъ ратникъ молодой,
Свинца веселый свистъ слышавшій впервой,
Бросался ты въ огонь, ища желанной смерти, —
Вотще! —

.....
.....
О люди, жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха!
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣньѣ
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!

БАРАТЫНСКІЙ.

37. Признаніе.

Притворной нѣжности не требуй отъ меня.
Я сердца моего не скрою хладъ печальной.
Ты права, въ немъ ужъ нѣтъ прекраснаго огня
Моей любви первоначальной.
Напрасно я себѣ на память приводилъ
И милый образъ твой, и прежнія мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья.
Я клятвы далъ, но далъ ихъ выше силъ.

Я не плѣненъ красавицей другою,
Мечты ревнивыя отъ сердца удали;
Но годы долгіе въ разлукѣ протекли,
Но въ буряхъ жизненныхъ развлекся я душою.

Ужь ты жила невѣрной тѣнью въ ней;
Уже къ тебѣ взывалъ я рѣдко, принужденно,
И пламень мой, слабѣе постепенно,
Собою самъ погасъ въ душѣ моей.

Вѣрь, жалокъ я одинъ. Душа любви желаетъ,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоеваетъ
Насъ только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минуетъ, знаменуя
Судьбины полную побѣду надо мной.
Кто знаетъ? мнѣніемъ сольюсь я съ толпой;
Подругу, безъ любви, кто знаетъ? изберу я.
На бракъ обдуманнй я руку ей подамъ
И въ храмъ стану рядомъ съ нею
Невинной, преданной быть можетъ лучшимъ снамъ,
И назову ее моею,
И вѣсть къ тебѣ придетъ; но не завидуй намъ:
Обмѣна тайныхъ думъ не будетъ между нами,
Душевнымъ прихотямъ мы воли не дадимъ:
Мы не сердца подъ брачными вѣнцами,
Мы только жребіи свои соединимъ.

Прощай! Мы долго шли дорогою одною:
Путь новый я избралъ, путь новый избери;
Печаль безплодную разсудкомъ усмири
И не вступай, молю, въ напрасный судъ со мною!
Не властны мы въ самихъ себѣ,
И въ молодья наши лѣты
Даемъ поспѣшные обѣты,
Смѣшные можетъ быть всевидящей судьбѣ.

38. Смерть.

Смерть дочерью тьмы не назову я
И, раболѣпною мечтой
Гробовый остовъ ей даруя,
Не ополчу ее косою.

О дочь верховнаго Эфира!
О свѣтозарная краса!
Въ рукѣ твоей олива мира,
А не губящая коса.

Когда возникнуль міръ цвѣтущій
Изъ равновѣсія дикихъ силъ,
Въ твое храненье Всемогущій
Его устройство поручилъ.

И ты летаешь надъ твореньемъ,
Согласье прямъ его лія
И въ немъ, прохладнымъ дуновеньемъ,
Смирная буйство бытія.

Ты укрощаешь возстающій
Въ безумной силѣ ураганъ,
Ты, на брега свои бѣгущій,
Вспять возвращаешь Океанъ.

Даешь предѣлы ты растенью,
Чтобъ не покрылъ гигантскій лѣсъ
Земли губительною тѣнью,
Злакъ не возсталъ бы до небесъ.

А человѣкъ! святая дѣва!
Передъ тобой съ его ланить

Мгновенно сходятъ пятна гнѣва,
Жарь любострастія бѣжить.

Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою-же рукою
Ты властелина и раба.

Недоумѣнье, принужденіе —
Условье смутныхъ нашихъ дней;
Ты всѣхъ загадокъ разрѣшеніе,
Ты разрѣшеніе всѣхъ цѣпей.

39.

Въ дни безграничныхъ увлеченій,
Въ дни необузданныхъ страстей,
Со мною жилъ превратный геній,
Наперсникъ юности моей.
Онъ жарь восторговъ несогласныхъ
Во мнѣ питаль и раздуваль;
Но соразмѣрностей прекрасныхъ
Въ душѣ носилъ я идеаль;
Когда лишь праздниковъ смятенья
Алкалъ безумецъ молодой,
Поэта мѣрныя творенья
Блистали стройной красотой.

Страстей порывы утихаютъ,
Страстей мятежныя мечты
Передо мной не затмеваютъ
Законовъ вѣчной красоты;

И поэтического міра
Огромной очеркъ я узрѣлъ,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотѣлъ.

40. На смерть Гете.

Предстала и старецъ великій смежилъ
Орлиныя очи въ покоѣ;
Почилъ безмятежно, зане совершилъ
Въ предѣлѣ земномъ все земное!
Надъ дивной могилой не плачь, не жалѣй,
Что генія черепъ наслѣдые червей.

Погась! но ничто не оставлено имъ
Подъ солнцемъ живыхъ безъ привѣта;
На все отозвался онъ сердцемъ своимъ,
Что просить у сердца отвѣта:
Крылатою мыслью онъ міръ облетѣлъ,
Въ одномъ безпредѣльномъ нашель ей предѣлъ.

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,
Искусствъ вдохновенныхъ созданья,
Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,
Цвѣтущихъ временъ упованья;
Мечтою по волѣ проникнуть онъ могъ
И въ нищую хату, и въ царскій чертогъ.

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ:
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;

Была ему звѣздная книга дана,
И съ нимъ говорила морская волна.

Извѣданъ, испытанъ имъ весь человѣкъ!

И ежели жизнью земною
Творецъ ограничилъ летучій нашъ вѣкъ,
И насъ за могильной доскою,
За міромъ явленій, не ждетъ ничего:
Творца оправдаетъ могила его.

И если загробная жизнь намъ дана,
Онъ, здѣшной вполнѣ отдышавшій
И въ звучныхъ, глубокихъ отзывахъ сполна
Все дольное долу отдавшій,
Къ Предвѣчному легкой душой возлетитъ,
И въ небѣ земное его не смутитъ.

41.

На что вы дни! Юдольный міръ явленья
Свои не измѣнить!
Всѣ вѣдомы, и только повторенья
Грядущее сулить.

Не даромъ ты металась и кипѣла
Развитіемъ спѣша,
Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла,
Безумная душа!

И тѣсный кругъ подлунныхъ впечатлѣній
Сомкнувшая давно,
Подъ вѣяньемъ возвратныхъ сновидѣній
Ты дремлешь; а оно

Безсмысленно глядитъ какъ утро встанетъ
Безъ нужды ночь смѣня;
Какъ въ мракъ ночной бесплодный вечеръ канетъ,
Вънецъ пустого дня!

42.

Филида съ каждою зимою,
Зимою новою своею,
Пугаетъ большей наготою
Своихъ старушечьихъ плечей:
И, Афродита гробовая,
Подходить, словно къ ложу сна,
За ризой ризу опуская,
Къ одру послѣднему она.

43.

Толпѣ тревожный день привѣтенъ, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боятся въ ней она
Раскованной мечты видѣній своевольныхъ.
Не легкокрылыхъ грезъ дѣтей волшебной тьмы,
Видѣній дня боимся мы,
Людскихъ суетъ, заботъ юдольныхъ.

Ощупай возмущенный мракъ:
Изчезнетъ съ пустотой сольется
Тебя пугающій призракъ
И заблужденыю чувствъ твой ужасъ улыбнется.

О сынъ Фантазіи! ты благодатныхъ Фей
Счастливый баловень, и тамъ, въ заочномъ мірѣ
Веселый семьянинъ, привычный гость на пирѣ
Неосязаемыхъ властей:

Мужайся, не слабѣй душою

Передъ заботою земною:

Ей исполинскій видъ даетъ твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою,
Изчезнетъ; а за нимъ опять передъ тобою
Обители духовъ откроются врата.

44.

Спасибо злобѣ хлопотливой,
Хвала вамъ, недруги мои!
Я, не усталый, но лѣнивый,
Ужъ пилъ Летійскія струи;

Слегка сѣдѣющій мой волосъ
Любилъ за право на покой;
Но вотъ къ борьбѣ глухой вашъ голосъ
Меня зоветъ и будить мой.

Спасибо вамъ, я не въ утратѣ!
Какъ богоизбранный Еврей,
Остановили на закатѣ
Вы солнце юности моей!

Спасибо! молодость вторую,
И человѣческимъ сынамъ
Досель безвѣстную, пирую
Я въ зависть Флакку, въ славу вамъ.

45. Элегія.

Т. Д.

Блаженъ, кто могъ на ложѣ ночи
 Тебя руками обогнуть:
 Челомъ въ чело, очами въ очи,
 Уста въ уста и грудь на грудь!
 Кто соблазнительный твой лепеть
 Лобзаньемъ пылкимъ прерываль,
 И смуглыхъ персей дикій трепеть
 То усыпляль, то пробуждалъ!...
 Но тотъ блаженнѣй, дѣва ночи,
 Кто въ упоеніи любви
 Глядитъ на огненные очи,
 На брови дивныя твои,
 На свѣжесть устъ твоихъ пурпурныхъ,
 На черноту младыхъ кудрей,
 Забывъ и жаръ восторговъ бурныхъ,
 И силы юности своей!

46. Къ Рейну.

Я видѣлъ, какъ бѣгутъ твои зелены волны:
 Онѣ, при вешнемъ свѣтѣ дня,
 Играя и шумя, летучимъ блескомъ полны,
 Качали ласково меня;
 Я видѣлъ яркія, роскошныя картины:
 Твои изгибы, твой просторъ,
 Твой веселые каштаны и раины,
 И виноградъ по склонамъ горъ,

И горы, и на нихъ высокія могилы
Твоихъ былыхъ богатырей,
Могилы рыцарства, и доблести, и силы
Давно, давно минувшихъ дней!
Я Волжанинъ: тебѣ привѣтъ отъ Волги нашей
Принесъ я. Слышаль ты объ ней?
Великъ, прекрасенъ ты! Но Волга больше, краше,
Великолѣпнѣе, пышнѣй,
И глубже, быстрая, и шире, голубая!
Не такъ, не такъ она бѣурлитъ,
Когда поднимется погодка верховая
И бѣлый валъ заговорить!
А какова она, шумящихъ волнъ громада,
Весной, какъ съ выси береговъ
Черезъ ея разливъ не перекинешь взгляда,
Черезъ море водъ и острововъ!
По царству и рѣка!... Тебѣ привѣтъ заздравный
Ея, властительницы водъ,
Обширныхъ русскихъ водъ, простершей ходъ свой
славный,
Всегда торжественный свой ходъ,
Между холмовъ, и горъ, и доловъ многоплодныхъ
До темныхъ Каспія зыбей!
Привѣты и ея притоковъ благородныхъ,
Ея подручицъ и князей:
Тверцы, которая безбурными струями
Лелѣетъ тысячи судовъ,
Идущихъ пестрыми, красивыми толпами
Подъ звучнымъ пѣніемъ пловцовъ;
Тебѣ привѣтъ Оки поемистой, дубравной,
Въ раздольѣ муромскихъ песковъ,
Текущей царственно, блистательно и плавно,
Въ виду почтенныхъ береговъ, —

И храмы древніе съ лучистыми главами
Глядятся въ ясны глубины,
И тихій благовѣсть несется надъ водами,
Завѣтный голосъ старины!
Суры, красавицы задумчиво бродящей,
То въ густоту своихъ лѣсовъ
Скрывающей себя, то на поляхъ блестящей
Подъ опухаломъ парусовъ;
Свіаги пажитной, игривой и безсонной,
Среди хозяйственныхъ заботъ,
Любящей стукъ колесъ, и плескъ неугомонной,
И гулъ работающихъ водъ;
Тебѣ привѣтъ изъ странъ Біарміи далекой,
Привѣтъ царицы хладныхъ рѣкъ,
Той Камы сумрачной, широкой и глубокой,
Чей сильный, бурный водобѣгъ,
Подъ кликами орловъ свои валы сѣдые
Катя въ кремнистыхъ берегахъ
Несетъ желѣзо, лѣсъ и горы соляныя
На исполинскихъ ладіяхъ;
Привѣтъ Самары, чье теченіе живое
Не слышно въ говорѣ гостей,
Ссыпающихъ въ суда богатство полевое,
Пшеницу — золото полей;
Привѣтъ проворнаго, лихаго Черемшана,
И двухъ Иргизовъ луговыхъ,
И тихо-струйнаго, привольнаго Сызрана,
И всѣхъ и большихъ и меньшихъ,
Несмѣтныхъ данниковъ и данницъ величавой,
Державной сѣверной рѣки,
Привѣты я принесъ тебѣ!... теки со славой,
Князь многихъ рѣкъ, свѣтло теки:
Блистай, красуйся, Рейнь! да ни грозы военной,
Ни пѣсенъ радостныхъ врага

Не слышишь вѣчно ты; да миръ благословенный
Твои покоить берега!
Да сладостно, на нихъ мечтая и гуляя,
Въ тѣни раскидистыхъ вѣтвей,
Цѣлуются любовь и юность удалая
При звонѣ синихъ хрусталей!

47. *Землетрясенье.*

Всевышній граду Константина
Землетрясенье посылалъ,
И геллеспонтская пучина
И берегъ съ грудой горъ и скалъ
Дрожали, и царей палаты,
И храмъ, и циркъ, и гиподромъ,
И стѣнъ градскихъ верхи зубчаты,
И все поморіе кругомъ.

По всей пространной Византіи,
Въ отверстыхъ храмахъ, Богу силъ
Обильно пѣлися литіи,
И дымъ молитвенныхъ кадилъ
Клубился; люди, страхомъ полны,
Текли передъ Христовъ алтарь:
Сенать, синклить, народа волны
И самъ благочестивый царь.

Вотще! Ихъ вопли и моленья
Господь во гнѣвѣ отвергалъ,
И гулъ и громъ землетрясенья
Не умолкалъ, не умолкалъ.

Тогда невидимая сила
Съ небесъ на землю низошла,
И быстро отрока схватила,
И выше облакъ унесла:

И внялъ онъ горнему глаголу
Небесныхъ ликовъ: Святъ, Святъ, Святъ!
И пѣсню ту принесъ онъ долу,
Священнымъ трепетомъ объять,
И церковь тѣ слова святыхъ
Въ свою молитву приняла,
И той молитвой Византія
Себя отъ гибели спасла.

Такъ ты, поэтъ, въ годину страха
И колебанія земли
Носись душой превыше праха,
И ликамъ ангельскимъ внемли,
И приноси дрожащимъ людямъ
Молитвы съ горней вышины,
Да въ сердце примемъ ихъ и будемъ
Мы нашей вѣрой спасены.

ВЕНЕВИТИНОВЪ.

48.

Я чувствую, во мнѣ горить
Святое пламя вдохновенья,
Но къ темной цѣли духъ парить...
Кто мнѣ укажетъ путь спасенья?

Я вижу, жизнь передо мной
Кипитъ какъ океанъ безбрежный...
Найду ли я утесъ надежный,
Гдѣ твердой обопрусь ногой?
Иль, вѣчнаго сомнѣнья полный,
Я буду горестно глядѣть
На перемѣнчивыя волны,
Не зная, что любить, что пѣть?

Открой глаза на всю природу, —
Мнѣ тайный голосъ отвѣчалъ, —
Но дай имъ выборъ и свободу.
Твой часъ еще не наступалъ;
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый мигъ въ ней воскрешай,
На каждый звукъ ея призывной
Отзывной пѣснью отвѣчай!
Когда жъ минуты удивленья,
Какъ сонъ туманный, пролетятъ,
И тайны вѣчнаго творенья
Яснѣй прочтеть спокойный взглядъ: —
Смирится гордое желанье,
Обнять весь мѣръ въ единый мигъ,
И звуки тихихъ струнъ твоихъ
Сольются въ стройныя созданья.

Не лживъ сей голосъ прорицанья,
И струны вѣрныя мои
Съ тѣхъ поръ душѣ не измѣняли.
Пою то радость, то печали,
То пылъ страстей, то жаръ любви,
И бѣглымъ мыслямъ простодушно
Ввѣряюсь въ пламени стиховъ.

Такъ соловей въ тѣни дубровъ,
Восторгу краткому послушной,
Когда на доли ляжетъ тѣнь,
Уныло вечеръ воспѣваетъ,
А утромъ весело встрѣчаетъ
Въ румяномъ небѣ ясный день.

ПОЛЕЖАЕВЪ.

49. Пѣснь плѣннаго Ирокезца.

Я умру! На позоръ палачамъ
Беззащитное тѣло отдамъ!

Равнодушно они
Для забавы дѣтей
Отдирать отъ костей
Будутъ жилы мои!
Обругаютъ, убьютъ
И мой трупъ разорвутъ!

Но стерплю, не скажу ничего,
Не наморщу чела моего!

И, какъ дубъ вѣковой,
Неподвижный отъ стрѣль,
Неподвиженъ и смѣль
Встрѣчу мигъ роковой;
И какъ воинъ и мужъ
Перейду въ страну душъ.

Передь сонмомъ тѣней воспою
Я безсмертную гибель мою!

И разсказъ мой плѣнить
Ихъ внимательный слухъ,
И воинственный духъ
Стариковъ оживить,
И пройдетъ по устамъ
Слава громкимъ дѣламъ;

И рекутъ они въ голосъ одинъ:
«Ты достойный прапрадѣдовъ сынъ!»
Совокупной толпой
Мы на землю сойдемъ
И въ родныхъ разольемъ
Пыль вражды боевой;
Побѣдимъ, поразимъ
И врагамъ отомстимъ.

Я умру! На позоръ палачамъ
Беззащитное тѣло отдамъ!
Но какъ дубъ вѣковой
Неподвижный отъ стрѣль,
Я недвижимъ и смѣль
Встрѣчу мигъ роковой!

ТЮТЧЕВЪ.

50. Весенняя Гроза.

Люблю грозу въ началѣ мая,
Когда весенній первый громъ,
Какъ бы рѣзвяся и играя,
Грохочетъ въ небѣ голубомъ.

Гремятъ раскаты молодые!
Вотъ дождикъ брызнулъ, пыль летить,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотить.

Съ горы бѣжить потокъ проворный,
Въ лѣсу не молкнетъ птицѣй гамъ,
И гамъ лѣсной, и шумъ нагорный —
Все вторить весело громамъ.

Ты скажешь: вѣтреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящій кубокъ съ неба,
Смѣясь, на землю пролила.

51. Сумерки.

Тѣни сизыя смѣсились,
Цвѣтъ поблекнулъ, звукъ уснулъ;
Жизнь, движенье разрѣшились
Въ сумракъ зыбкій, въ дальный гулъ...
Мотылька полетъ незримый
Слышенъ въ воздухѣ ночномъ...
Чась тоски невыразимой!
Все во мнѣ, — и я во всемъ...

Сумракъ тихій, сумракъ сонный,
Лейся въ глубь моей души,
Тихій, томный, благовонный,
Все залей и утиши.

Чувства — мглой самозабвенья
Переполни через край!...
Дай вкусить уничтоженья,
Съ міромъ дремлющимъ смѣшай!

52. *Silentium.*

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Пускай въ душевной глубинѣ
Встають и заходятъ онѣ
Безмолвно, какъ звѣзды въ ночи;
Любуйся ими — и молчи!

Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя?
Пойметъ ли онъ чѣмъ ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая, возмутишь ключи:
Питайся ими — и молчи!

Лишь жить въ самомъ себѣ умѣй:
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей
Таинственно-волшебныхъ думъ;
Ихъ оглушилъ наружный шумъ,
Дневные разгоняютъ лучи:
Внимай ихъ пѣнью, — и молчи!

53. *Сонъ на Морѣ.*

И море и буря качали нашъ чолнъ;
Я сонный, былъ преданъ всей прихоти волнъ. —
Двѣ безпредѣльности были во мнѣ;
И мной своевольно играли онѣ.

Вкругъ меня, какъ кимвалы, звучали скалы,
Окликалися вѣтры, и пѣли валы.
Я въ хаосѣ звуковъ леталъ оглушень;
Но надъ хаосомъ звуковъ носился мой сонъ.
Болѣзненно-яркій, волшебнo-нѣмой
Онъ вѣялъ легко надъ гремящею тьмой;
Въ лучахъ огневицы развилъ онъ свой міръ:
Земля зеленѣла, свѣтился ээиръ,
Сады-лабиринты, чертоги, столпы, —
И сонмы кипѣли безмолвной толпы.
Я много узналъ мнѣ невѣдомыхъ лицъ,
Зрѣлъ тварей волшебныхъ, таинственныхъ птицъ...
По высямъ творенья, какъ богъ, я шагаль,
И міръ подо мною недвижный сіялъ...
Но всѣ грезы насквозь, — какъ волшебника вой,
Мнѣ слышался грохотъ пучины морской,
И въ тихую область видѣній и сновъ
Врывалася пѣна ревущихъ валовъ.

54.

Не то, что мните вы, природа: —
Не слѣпокъ, не бездушный ликъ;
Въ ней есть душа, въ ней есть свобода,
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ.

.....
.....
.....
.....

Вы зрите листь и цвѣтъ на дровѣ,
Иль ихъ садовникъ приклеилъ?

Иль зрѣеть плодъ въ родимомъ чревѣ
Игрою внѣшнихъ, чуждыхъ силъ?...

.....
.....
.....
.....

Они не видятъ и не слышатъ,
Живутъ въ семь мѣрѣ, какъ впотьмахъ,
Для нихъ и солнца, знать, не дышатъ,
И жизни нѣтъ въ морскихъ волнахъ.

Лучи къ нимъ въ душу не сходили,
Весна въ груди ихъ не цвѣла,
При нихъ лѣса не говорили,
И ночь въ звѣздахъ нѣма была!

И, языками неземными
Волнуя рѣки и лѣса,
Въ ночи не совѣщалась съ ними
Въ бесѣдѣ дружеской гроза.

Не ихъ вина: пойми, коль можетъ,
Органа жизнь, глухонѣмой!
Увы, души въ немъ не встревожить
И голосъ матери самой.

55. 1 Декабря 1827.

Такъ здѣсь-то суждено намъ было
Сказать послѣднее прости,
Прости всему, чѣмъ сердце жило,

Что, жизнь твою убивъ, ее испепелило
Въ твоей измученной груди!

Прости... Черезъ много, много лѣтъ
Ты будешь помнить съ содроганьемъ
Сей край, сей берегъ съ его полуденнымъ сіяньемъ,
Гдѣ вѣчный блескъ и ранній цвѣтъ,
Гдѣ позднихъ, блѣдныхъ розъ дыханьемъ
Декабрьскій воздухъ разогрѣтъ.

56. Последняя Любовь.

О, какъ на склонѣ нашихъ лѣтъ
Нѣжнѣй мы любимъ и суевѣрнѣй...
Сіяй, сіяй, прощальный свѣтъ.
Любви послѣдней, зари вечерней!

Полнеба охватила тѣнь,
Лишь тамъ на западѣ брежитъ сіянье,
Помедли, помедли вечерній день,
Продлись, продлись, очарованье!

Пускай скудѣетъ въ жилахъ кровь.
Но въ сердцѣ не скудѣетъ нѣжность...
О, ты, послѣдняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.

57. По случаю пріѣзда Австрійскаго Эрцгерцога на похороны Императора Николая.

Нѣтъ, мѣра есть долготерпѣнью,
Безстыдству также мѣра есть...
Клянусь его державной тѣнью,
Не все же можно перенести!

И какъ не грянетъ отовсюду
Одинъ всеобщій кличь тоски:
Прочь, прочь австрійскаго Іуду,
Отъ гробовой его доски!

Прочь съ ихъ предательскимъ лобзаньемъ,
И весь «апостольскій» ихъ родъ
Будь заклеименъ однимъ прозваньемъ:
Искаріотъ, Искаріотъ!

58.

Есть въ осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоитъ какъ бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Гдѣ бодрый серпъ гулялъ и падалъ колось,
Теперь ужъ пусто все — просторъ вездѣ;
Лишь паутины тонкій волосъ
Блеститъ на празднои бороздѣ.

Пустѣетъ воздухъ, птицъ не слышно болѣ;
Но далеко еще до первыхъ зимнихъ бурь,
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле.

59.

Ночное небо такъ угрюмо
Заволокло со всѣхъ сторонъ:
То не угроза и не дума,
То вялый, безотраднй сонъ.

Однѣ зарницы огневья,
Воспламеняясь чередой,
Какъ демоны глухонѣмые,
Ведутъ бесѣду межъ собой.

Какъ по условленному знаку,
Вдругъ неба вспыхнетъ полоса,
И быстро выступятъ изъ мраку
Поля и дальніе лѣса!
И вотъ опять все потемнѣло,
Все стихло въ чуткой темнотѣ,
Какъ бы таинственное дѣло.
Рѣшалось тамъ — на высотѣ...

60.

Нѣтъ дня, чтобы душа не ныла,
Не изнывала бѣ о быломъ, —
Искала словъ, не находила, —
И сохла, сохла съ каждымъ днемъ.

Какъ тотъ, кто жгучею тоскою
Томился по краю родномъ
И вдругъ узналъ бы, что волною
Онъ схороненъ на днѣ морскомъ.

ХОМЯКОВЪ.

61. *Труженникъ.*

По жесткимъ глыбамъ сорной нивы,
Съ утра до истощенья силъ,
Довольно, пахарь терпѣливый,
Я плугъ тяжелый свой водилъ.

Довольно, дикою враждою
И злымъ безумьемъ окружень,
Боролся крѣпкой я борьбою —
Я утомлень, я утомлень.

Пора на отдыхъ. О дубравы!
О тишина полей и водъ,
И надъ оврагами кудрявый
Вѣтвей сплетающихся сводъ!

Хоть разъ одинъ въ тѣни отрадной,
Склонившись къ звонкому ручью,
Хочу всей грудью, грудью жадной,
Вдохнуть вечернюю струю!

Стереть бы потъ дневного зноя!
Страхнуть бы грузъ дневныхъ заботъ!...
«Безумецъ! Нѣтъ тебѣ покоя,
Нѣтъ отдыха: впередъ, впередъ!

Взгляни на ниву: пашни много,
А дня немного впереди.
Вставай же, рабъ лѣнивый Бога,
Господь велить: иди, иди!

Ты купленъ дорогой цѣною,
Крестомъ и кровью купленъ ты:
Сгибайся жъ, пахарь, надъ браздою!
Борись, борецъ, до поздней тьмы!»

Предъ словомъ грознаго призванья
Склоняюсь трепетнымъ челомъ;
А Ты безумнаго роптанья
Не помяни въ судѣ Твоемъ!

Иду свершать въ трудѣ и потѣ
Удѣлъ, назначенный Тобой,
И не сомкну очей въ дремотѣ,
И не ослабну предъ борьбой.

Не брошу плуга, рабъ лѣнивый,
Не отойду я отъ него,
Покуда не прорѣжу нивы,
Господь, для сѣва Твоего.

КОЛЬЦОВЪ

62. Горькая Доля.

Соловьемъ залетнымъ
Юность пролетѣла,
Волной въ непогоду
Радость прошумѣла.

Пора золотая
Была, да сокрылась,
Сила молодая
Съ тѣломъ износилась.

Отъ кручины-думы
Въ сердцѣ кровь застыла;
Что любилъ, какъ душу —
И то измѣнило.

Какъ былинку, вѣтеръ
Молодца шатаетъ;
Зима лицо знобить,
Солнце — сожигаетъ.

До поры, до время
Всѣмъ я весь изжился,
И кафтанъ мой синій
Съ плечь долой свалился!

Безъ любви, безъ счастья
По міру скитаюсь:
Разойдусь съ бѣдою —
Съ горемъ повстрѣчаюсь!

На крутой горѣ
Росъ зеленый дубъ:
Подъ горой теперь
Онъ лежитъ — гніеть...

63. Пѣсня,

Ахъ, зачѣмъ меня
Силой выдали
За немилова —
Мужа старова?

Небось весело
Теперь матушкѣ
Утирать мои
Слезы горькія!

Небось весело
Глядѣть батюшкѣ
На житье-бытье
Горемышное!

Небось сердце въ нихъ
Разрывается,
Какъ приду одна
На великой день;

Ота дружка дары
Принесу съ собой:
На лицѣ — печаль,
На душѣ — тоску!

Поздно, родные,
Обвинять судьбу,
Ворожить, гадать,
Сулить радости!

Пусть изъ-за моря
Корабли плывутъ,
Пущай золото
Но поль сыплется:

Не расти травѣ
Послѣ осени;
Не цвѣсти цвѣтамъ
Зимой по снѣгу!

КАРОЛИНА ПАВЛОВА.

64.

О быломъ, о погибшемъ, о старомъ
Мысль нѣмая душѣ тяжела;
Много въ жизни я встрѣтила зла,

Много чувствъ я истратила даромъ,
Много жертвъ невпопадъ принесла.

Шла я вновь послѣ каждой ошибки,
Забывая жестокій урокъ,
Безоружно въ житейскія сшибки;
Вѣры въ слезы, слова и улыбки
Врвать умъ мой изъ сердца не могъ.

И душою, судьбѣ непокорной,
Средь невзгодъ одолѣвшихъ меня,
Убѣжденья въ успѣхъ сохраняя,
Какъ игрокъ ожидала упорный
День за днемъ я счастливаго дня.

Смѣло кладъ я бросала за кладомъ, —
И стою, проигравшись въ пухъ;
И счастливыя, сидящія рядомъ,
Смотрятъ жаднымъ язвительнымъ взглядомъ, —
Измѣняетъ ли твердый мнѣ духъ?

ЛЕРМОНТОВЪ.

65. *Ангель.*

По небу полуночи ангель летѣлъ,
И тихую пѣсню онъ пѣлъ;
И мѣсяцъ, и звѣзды, и тучи толпой
Внимали той пѣснѣ святой.
Онъ пѣлъ о блаженствѣ безгрѣшныхъ духовъ
Подъ кущами райскихъ садовъ,

О Богъ великомъ онъ пѣль, и хвала
Его непритворна была.
Онъ душу младую въ объятіяхъ несъ
Для міра печали и слезъ,
И звукъ его пѣсни въ душѣ молодой
Остался безъ словъ, но живой.
И долго на свѣтѣ томилась она,
Желаніемъ чуднымъ полна,
И звуковъ небесъ замѣнить не могли
Ей скучныя пѣсни земли.

66. Бородино.

«Скажи-ка, дядя, вѣдь не даромъ
Москва, спаленная пожаромъ,
Французу отдана?
Вѣдь были жъ схватки боевыя?
Да, говорятъ, еще какія!
Не даромъ помнитъ вся Россія
Про день Бородина!»

— Да, были люди въ наше время,
Не то, что нынѣшнее племя:
Богатыри, — не вы!
Плохая имъ досталась доля:
Немногіе вернулись съ поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали бъ Москвы!

Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:

«Что жъ мы? На зимнія квартиры?
Не смѣютъ, что ли, командиры
Чужіе изорвать мундиры
О русскіе штыки?»

И вотъ, нашли большое поле:
Есть разгуляться гдѣ на волѣ!
Построили редутъ.

У нашихъ ушки на макушкѣ!
Чуть утро освѣтило пушки
И лѣса синія верхушки, —
Французы тутъ какъ тутъ.

Забилъ зарядъ я въ пушку туго
И думалъ: угощу я друга!

Постой-ка, братъ, мусью!
Что тутъ хитрить? — Пожалуй къ бою;
Ужъ мы пойдемъ ломить стѣною,
Ужъ постоимъ мы головою
За родину свою!

Два дня мы были въ перестрѣлкѣ.
Что толку въ этакой бездѣлкѣ?
Мы ждали третій день.

Повсюду стали слышны рѣчи:
«Пора добратся до картечи!»
И вотъ на поле грозной сѣчи
Ночная пала тѣнь.

Прилежъ вздремнуть я у лафета,
И слышно было до разсвѣта,
Какъ ликовалъ французъ.

Но тихъ былъ нашъ бивакъ открытый:
Кто киверь чистилъ весь избитый,
Кто штыкъ точилъ, ворча сердито,
Кусая длинный усь.

И только небо засвѣтилось,
Все шумно вдругъ зашевелилось,
Сверкнулъ за строемъ строй.
Полковникъ нашъ рожденъ былъ хватомъ:
Слуга царю, отецъ солдатамъ...
Да, жаль его: сраженъ булатомъ,
Онъ спить въ землѣ сырой.

И молвилъ онъ, сверкнувъ очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте жъ подъ Москвой,
Какъ наши братья умирали!»
И умереть мы обѣщали,
И клятву вѣрности сдержали
Мы въ Бородинскій бой.

Ну жъ былъ денекъ! Сквозь дымъ летучій
Французы двинулись, какъ тучи,
И все на нашъ редуть.
Уланы съ пестрыми значками,
Драгуны съ конскими хвостами, —
Всѣ промелькнули передъ нами,
Всѣ побывали тутъ.

Вамъ не видать такихъ сраженій!...
Носились знамена какъ тѣни,
Въ дыму огонь блестѣлъ,
Звучалъ булатъ, картечь визжала,
Рука бойцовъ колоть устала,
И ядрамъ пролетать мѣшала
Гора кровавыхъ тѣлъ.

Извѣдалъ врагъ въ тотъ день немало,
Что значить русскій бой удалый,
Нашъ рукопашный бой!...

Земля тряслась, какъ наши груди;
Смѣшались въ кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудій

Слились въ протяжный вой...

Вотъ смерклось. Были всѣ готовы
Заутра бой затѣять новый

И до конца стоять...

Вотъ затрещали барабаны,

И отступили басурманы.

Тогда считать мы стали раны,

Товарищey считать...

Да, были люди въ наше время —

Могучее, лихое племя:

Богатыри, — не вы!

Плохая имъ досталась доля:

Немногіе вернулись съ поля...

Когда бъ на то не Божья воля,

Не отдали бъ Москвы!



67. Молитва.

Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою
Предъ Твоимъ образомъ, яркимъ сіяніемъ,
Не о спасеніи, не передъ битвою,
Не съ благодарностью иль покаяніемъ,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника въ свѣтѣ безроднаго, —
Но я вручить хочу дѣву невинную
Теплой Заступницѣ міра холоднаго..

Окружи счастьемъ счастья достойную,
Дай ей сопутниковъ, полныхъ вниманія,
Молодость свѣтлую, старость покойную,
Сердцу незлобному миръ упованія.

Срокъ ли приблизится часу прощальному
Въ утро ли шумное, въ ночь ли безгласную,
Ты воспріять пошли къ ложу печальному
Лучшаго ангела душу прекрасную.

68. Памяти А. И. О-го.

1

Я зналъ его: мы странствовали съ нимъ
Въ горахъ Востока, и тоску изгнанья
Дѣлили дружно; но къ полямъ роднымъ
Вернулся я, и время испытанья
Промчалось законной чередой;
А онъ не дождался минуты сладкой:
Подъ бѣдною походною палаткой
Болѣзнь его сразила, и съ собой
Въ могилу онъ унесъ летучій рой
Еще незрѣлыхъ, темныхъ вдохновеній,
Обманутыхъ надеждъ и горькихъ сожалѣній!

2

Онъ былъ рожденъ для нихъ, для тѣхъ надеждъ,
Позіи и счастья... Но — безумный —
Изъ дѣтскихъ рано вырвался одеждъ
И сердце бросилъ въ море жизни шумной.

И свѣтъ не пощадилъ, и рокъ не спасъ!
Но до конца, среди волненій трудныхъ,
Въ толпѣ людской и средь пустынь безлюдныхъ,
Въ немъ тихій пламень чувства не угасъ:
Онъ сохранилъ и блескъ лазурныхъ глазъ,
И звонкій дѣтскій смѣхъ, и рѣчь живую,
И вѣру гордую въ людей, и жизнь иную.

3

Но онъ погибъ далеко отъ друзей...
Миръ сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужихъ полей,
Пусть тихо спитъ оно, какъ дружба наша
Въ нѣмомъ кладбищѣ памяти моей!
Ты умеръ, какъ и многіе, безъ шума,
Но съ твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челѣ твоемъ,
Когда глаза закрылись вѣчнымъ сномъ;
И то, что ты сказалъ передъ кончиной,
Изъ слушавшихъ тебя не понялъ ни единый...

4

И было ль то привѣтъ странѣ родной,
Названье ли оставленнаго друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крикъ послѣдняго недуга, —
Кто скажетъ намъ?.. Твоихъ послѣднихъ словъ
Глубокое и горькое значенье
Потеряно. Дѣла твои, и мнѣнья,
И думы — все исчезло безъ слѣдовъ,
Какъ легкій паръ вечернихъ облаковъ:
Едва блеснутъ, ихъ вѣтеръ вновь уноситъ.
Куда они? зачѣмъ? откуда? — кто ихъ спросить...

И послѣ ихъ на небѣ нѣтъ слѣда,
 Какъ отъ любви ребенка безнадежной,
 Какъ отъ мечты, которой никогда
 Онъ не ввѣрялъ заботамъ дружбы нѣжной...
 Что за нужда? Пускай забудетъ свѣтъ
 Столь чуждое ему существованье:
 Зачѣмъ тебѣ вѣнцы его вниманья
 И тернія пустыхъ его клеветъ?
 Ты не служилъ ему. Ты съ юныхъ лѣтъ
 Коварныя его отвергнулъ цѣпи:
 Любилъ ты моря шумъ, молчанье синей степи

И мрачныхъ горъ зубчатые хребты...
 И, вокругъ твоей могилы неизвѣстной,
 Все, чѣмъ при жизни радовался ты,
 Судьба соединила такъ чудесно:
 Нѣмая степь синѣетъ, и вѣнцомъ
 Серебрянымъ Кавказъ ее объемлетъ,
 Надъ моремъ онъ, нахмурясь, тихо дремлетъ,
 Какъ великанъ склонившись надъ щитомъ,
 Расскажамъ волнъ кочующихъ внимая,
 А море Черное шумить не умолкая.

69. Первое Января.

Какъ часто, пестрою толпою окружень,
 Когда передо мной, какъ будто бы сквозь сонъ,
 При шумѣ музыки и пляски,

При дикомъ шопотѣ затверженныхъ рѣчей,
Мелькаютъ образы бездушные людей,
Приличьемъ стянутыя маски;
Когда касаются холодныхъ рукъ моихъ
Съ небрежной смѣлостью красавицъ городскихъ
Давно безтрепетныя руки, —
Наружно погружась въ ихъ блескъ и суету,
Ласкаю я въ душѣ старинную мечту,
Погибшихъ лѣтъ святыя звуки.
И если какъ-нибудь на мигъ удастся мнѣ
Забуться, — памятью къ недавней старинѣ
Лечу я вольной, вольной птицей.
И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ
Родныя все мѣста: высокій барскій домъ
И садъ съ разрушенной теплицей;
Зеленой сѣтью травъ подернуть спящій прудъ,
А за прудомъ село дымится, и встаютъ
Вдали туманы надъ полями.
Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядитъ вечерній лучъ, и желтые листы
Шумятъ подъ робкими шагами.
И странная тоска тѣснить ужъ грудь мою:
Я думаю о ней, я плачу и люблю, —
Люблю мечты моей созданье
Съ глазами, полными лазурнаго огня,
Съ улыбкой розовой, какъ молодого дня
За рощей первое сіянье.
Такъ, царства дивнаго всесильный господинъ,
Я долгіе часы просиживалъ одинъ,
И память ихъ жива понынѣ
Подъ бурей тягостныхъ сомнѣній и страстей,
Какъ свѣжій островокъ безвредно средь морей
Цвѣтеть на влажной ихъ пустынѣ.

Когда жъ, опомнившись, обманъ я узнаю,
И шумъ толпы людской спугнетъ мечту мою,
 На праздникъ незванную гостью, —
О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
 Облитый горечью и злостью!..

70. *Завѣщаніе.*

Наединѣ съ тобою, братъ,
Хотѣлъ бы я побыть:
На свѣтѣ мало, говорятъ,
Мнѣ остается жить!
Поѣдешь скоро ты домой:
Смотри жъ... Да что! моей судьбой,
Сказать по правдѣ, очень
Никто не озабоченъ.

А если спросить кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросилъ, —
Скажи имъ, что на вылетъ въ грудь
Я пулей раненъ былъ;
Что умеръ честно за царя,
Что плохи наши лѣкаря,
И что родному краю
Поклонъ я посылаю.

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты въ живыхъ...
Признаться, право, было бъ жаль
Мнѣ опечалить ихъ;

Но если кто изъ нихъ и живъ,
Скажи, что я писать лѣнивъ,
Что полкъ въ походъ послали,
И чтобъ меня не ждали.

Сосѣдка есть у нихъ одна...
Какъ вспомнишь, какъ давно
Разстались... Обо мнѣ она
Не спросить... Все равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалѣй;
Пускай она поплачетъ...
Ей ничего не значить!

71. Последнее Новоселье.

Межъ тѣмъ какъ Франція, среди рукоплесканій
И кликовъ радостныхъ, встрѣчаетъ хладный прахъ
Погибшаго давно среди нѣмыхъ страданій
Въ изгнаньи мрачномъ и цѣпяхъ;

Межъ тѣмъ какъ міръ услужливой хвалою
Вѣнчаетъ поздняго раскаянья порывъ,
И вздорная толпа, довольная собою,
Гордится, прошлое забывъ, —

Негодованію и чувству давь свободу,
Понявъ тщеславіе сихъ праздничныхъ заботъ,
Мнѣ хочется сказать великому народу:
Ты жалкій и пустой народъ!

Ты жалокъ потому, что вѣра, слава, геній,
Все, все великое, священное земли,
Съ насмѣшкой глупою ребяческихъ сомнѣній,
Тобой растоптано въ пыли.

Изъ славы сдѣлалъ ты игрушку лицемѣрья,
Изъ вольности — орудье палача,
И всѣ завѣтныя отцовскія повѣрья
Ты имъ рубилъ, рубилъ съ плеча.

Ты погибалъ! И онъ явился съ строгимъ взоромъ,
Отмѣченный божественнымъ перстомъ,
И признанъ за вождя всеобщимъ приговоромъ,
И ваша жизнь слилася въ немъ.

И вы окрѣпли вновь въ тѣни его державы,
И мѣръ трепещущій въ безмолвіи взиралъ
На ризу чудную могущества и славы,
Которой васъ онъ одѣвалъ.

Одинъ онъ былъ вездѣ, холодный, неизмѣнный.
Отецъ сѣдыхъ дружинъ, любимый сынъ молвы,
Въ степяхъ египетскихъ, у стѣнъ покорной Вѣны,
Въ снѣгахъ пылающей Москвы.

А вы что дѣлали, скажите, въ это время,
Когда въ поляхъ чужихъ онъ гордо погибалъ?
Вы потрясали власть избранную, какъ бремя,
Точили въ темнотѣ кинжалъ!

Среди послѣднихъ битвъ, отчаянныхъ усилій,
Въ испугѣ не понявъ позора своего,

Какъ женщина, ему вы измѣнили
И, какъ рабы, вы предали его.

Лишенный правъ и мѣста гражданина,
Разбитый свой вѣнецъ онъ снялъ и бросилъ самъ,
И вамъ оставилъ онъ въ залогъ родного сына, —
Вы сына выдали врагамъ!

Тогда, отяготивъ позорными цѣпями,
Героя увезли отъ плачущихъ дружинъ,
И на чужой скалѣ, за синими морями,
Забытый, онъ угасъ одинъ,

Одинъ, замученъ мщеніемъ безплоднымъ,
Безмолвною и гордою тоской,
И, какъ простой солдатъ, въ плащѣ своемъ походномъ
Зарыть наемною рукой...

Но годы протекли, — и вѣтреное племя
Кричитъ: «Подайте намъ священный этотъ прахъ!
Онъ нашъ! Его теперь, великой жатвы сѣмя,
Зароемъ мы въ спасенныхъ имъ стѣнахъ!»

И возвратился онъ на родину. Безумно,
Какъ прежде, вокругъ него тѣснятся и бѣгутъ,
И въ пышный гробъ, среди столицы шумной,
Останки тлѣнные кладутъ.

Желанье позднее увѣнчано успѣхомъ!
И, краткій свой восторгъ смѣнивъ уже другимъ,
Гуляя, топчетъ ихъ съ самодовольнымъ смѣхомъ
Толпа, дрожавшая предъ нимъ!

И грустно мнѣ, когда подумаю, что нынѣ
Нарушена святая тишина
Вокругъ того, кто ждалъ въ своей пустынѣ
Такъ жадно, столько лѣтъ спокойствія и сна!

И если духъ вождя примчится на свиданье
Съ гробницей новою, гдѣ прахъ его лежитъ,
Какое въ немъ негодованье
При этомъ видѣ закипитъ!

Какъ будетъ онъ жалѣть, печалію томимый,
О знойномъ островѣ подъ небомъ дальнихъ странъ,
Гдѣ сторожилъ его, какъ онъ непобѣдимый,
Какъ онъ великій, океанъ!

72. Сонъ.

Въ полдневный жаръ, въ долину Дагестана,
Съ свинцомъ въ груди лежалъ недвижимъ я;
Глубокая еще дымилась рана,
По каплѣ кровь сочилась моя.

Лежалъ одинъ я на пескѣ долины;
Уступы скалъ тѣснилися кругомъ,
И солнце жгло ихъ желтыя вершины,
И жгло меня, — но спалъ я мертвымъ сномъ.

И снился мнѣ сіяющій огнями
Вечерній пиръ въ родимой сторонѣ;
Межъ юныхъ женъ, увѣнчанныхъ цвѣтами,
Шель разговоръ веселый обо мнѣ.

Но, въ разговоръ веселый не вступая,
Сидѣла тамъ задумчиво одна,
И въ грустный сонъ душа ея младая,
Богъ знаетъ чѣмъ, была погружена.

И снилась ей долина Дагестана...
Знакомый трупъ лежалъ въ долинѣ той,
Въ его груди дымясь чернѣла рана,
И кровь лилась хладѣющей струей...

ОГАРЕВЪ.

73. *Fatum.*

Вхожу я въ церковь — тамъ стоятъ два гроба,
Окружены молящимися оба.
Одинъ былъ длинный гробъ, и видѣлъ въ немъ
Я мертвеца съ измученнымъ лицомъ,
Съ улыбкою отчаянья глухого,
И кости лишь да кожа — такъ худого.
Казался онъ не старъ, но былъ ужъ сѣдъ,
Какъ будто бы погибъ подъ ношей бѣдъ.
Блѣдна, какъ онъ, и столько же худая
Стояла возлѣ женщина, рыдая;
И дѣти-нищѣ на мертвеца
Смотрѣли съ дѣтской глупостью лица.

А гробъ другой былъ малъ, и въ немъ лежало
Дитя — такъ тихо, будто задремало.
Отецъ и мать у гроба, а вокругъ,
Одѣтыхъ въ трауръ, было много слугъ.

Печально мать-красавица молчала,
То плакала, то тяжело вздыхала.
Отецъ въ себя казался углублень
И все шепталъ: «зачѣмъ онъ былъ рожденъ?»

И я тоски не въ силахъ былъ сносить,
Я вышелъ вонъ, и въ лѣсъ ушелъ бродить —
И вѣтеръ вылъ, и тучи тяготѣли,
И на корняхъ, треща, качались ели.

ТУРГЕНЕВЪ.

74. *Въ дорогѣ.*

Утро туманное, утро сѣдое,
Нивы печальныя, снѣгомъ покрытыя.
Нехотя вспомнишь и время бывшее,
Вспомнишь и лица, давно позабытыя.

Вспомнишь обильныя страстныя рѣчи,
Взгляды, такъ жадно, такъ робко ловимые,
Первыя встрѣчи, послѣднія встрѣчи,
Тихаго голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку съ улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное далекое,
Слушая ропотъ колесъ непрестанный,
Глядя задумчиво въ небо широкое.

75. Поэзія.

Люби, люби Камень, кури имъ ейміамъ!
 Лишь ими жизнь красна, лишь ими милы намъ
 Панорма небеса, Тетиды блескъ невѣрный,
 И виноградники богатаго Фалерна,
 И розы Пестума, и въ раскаленный день
 Бландузія кристалль, и миръ его прохлады,
 И Рима древняго священныя громады,
 И утромъ ранній дымъ сабинскихъ деревень.

 ПОЛОНСКІЙ.

76.

Пришли и стали тѣни ночи
 На стражѣ у моихъ дверей.
 Смѣлѣй глядитъ мнѣ прямо въ очи
 Глубокой мракъ ея очей.
 Надъ ухомъ шепчетъ голосъ нѣжный,
 И змѣйкой бьется мнѣ въ лицо
 Ея волосъ моей небрежной
 Рукой измятое кольцо.
 Помедли, ночь! густою тьмою
 Покрой волшебный міръ любви!
 Ты, время, дряхлою рукою
 Свои часы останови!
 Но покачнулись тѣни ночи,
 Бѣгутъ, шатаяся, назадъ;
 Ея потупленные очи
 Уже глядятъ и не глядятъ;

Въ моихъ рукахъ рука застыла;
Стыдливо на моей груди
Она лицо свое сокрыла...
О, солнце, солнце! Погоди!

77. Пчела.

Пчела, погибшая съ послѣдними цвѣтами,
Недаромъ чистыми янтарными сотами
Ты, съ помощью сестеръ, свой улей убрала.
Ту руку, что тебя все лѣто берегла,
Обогатила ты сладчайшими дарами.

А я, собравши плодь съ цвѣтовъ Господней нивы,
Я рано, до зари, вернулся въ садъ родной;
Но опрокинутымъ нашель я улей мой...
Гдѣ цвѣль подсолнечникъ, — растутъ кусты крапивы,
И некуда сложить мнѣ ноши дорогой...

78. Колокольчикъ.

Улеглася метелица; путь озарень...
Ночь глядитъ миллионами тусклыхъ очей.
Погружай меня въ сонъ колокольчика звонъ,
Выноси меня тройка усталыхъ коней!
Мутный дымъ облаковъ и холодная даль
Начинають яснѣть; бѣлый призракъ луны
Смотрить въ душу мою и былую печаль
Наряжаетъ въ забытые сны.

То вдругъ слышится мнѣ, — страстный голосъ поеть,
Съ колокольчикомъ дружно звеня:
«Охъ, когда-то, когда-то мой милый придетъ,
«Отдохнуть на груди у меня!
«У меня ли не жизнь! Чуть заря на стеклѣ
«Начинаетъ лучами съ морозомъ играть,
«Самоваръ мой кипитъ на дубовомъ столѣ,
«И трещитъ моя печь, озаряя въ углѣ
«За цвѣтной занавѣской кровать...
«У меня ли не жизнь! Ночью ль ставень открыть, —
«По стѣнамъ бродитъ мѣсяца лучъ золотой;
«Забушуетъ ли вьюга, — лампада горитъ,
«И, когда я дремлю, мое сердце не спитъ,
«Все по немъ изнывая тоской!»

То вдругъ слышится мнѣ, — тотъ же голосъ поеть,
Съ колокольчикомъ грустно звеня:
«Гдѣ-то старый мой другъ? я боюсь, — онъ войдетъ
«И, ласкаясь обниметъ меня!
«Что за жизнь у меня! — И тѣсна, и темна,
«И скучна моя горница; дуетъ въ окно...
«За окошкомъ растеть только вишня одна,
«Да и та за промерзлымъ окномъ не видна
«И, быть можетъ, погибла давно...
«Что за жизнь! полинялъ пышный полога цвѣтъ,
«Я больная брожу и не ѣду къ роднымъ;
«Побранить меня некому, — милаго нѣтъ...
«Лишь старуха ворчитъ, какъ приходитъ сосѣдь:
«Оттого, что мнѣ весело съ нимъ...»

She walks in beauty, like the night.
Byron.

Тѣнь ангела прошла съ величіемъ царицы:
Въ ней были мракъ и свѣтъ въ одно видѣнье слиты.
Я видѣлъ темныя, стыдливыя рѣсницы,
Приподнятую бровь и блѣдныя ланиты...
И съ гордой кротостью уста ея молчали;
И мнилось если бъ вдругъ они заговорили,
 Такъ много бы прекраснаго сказали,
 Такъ много бы высокаго открыли,
 Что и самой бы стало ей невольно
И грустно, и смѣшно, и тягостно, и больно.

Какъ воплощенное страданіе поэта,
Она прошла въ толпѣ съ величіемъ смиренья;
Я проводилъ ее глазами безъ привѣта
И безъ восторженныхъ похвалъ и безъ моленья.
Съ благоговѣніемъ уста мои молчали,
Но если бъ какъ-нибудь они заговорили,
 Такъ много бы безумнаго сказали,
 Такъ много бы сердечныхъ язвъ раскрыли,
 Что самому мнѣ стало бъ вдругъ невольно
И стыдно, и смѣшно, и тягостно, и больно.

АПОЛЛОНЪ ГРИГОРЬЕВЪ.

80.

О, говори хоть ты со мной
 Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
 А ночь такая лунная!

Вонъ тамъ звѣзда одна горитъ,
Такъ ярко и мучительно,
Лучами сердце шевелить,
Дразня его язвительно.

Чего отъ сердца нужно ей?
Вѣдь знаетъ безъ того она,
Что къ ней тоскою долгихъ дней
Вся жизнь моя прикована...

И сердце вѣдаетъ мое,
Отравую облитое,
Что я впивалъ въ себя ея
Дыханье ядовитое...

Я отъ зари и до зари
Тоскую, мучусь, сѣтую.
Допой же мнѣ — договори
Ту пѣсню недопѣтую.

Договори сестры твоей
Всѣ недомолвки странныя...
Смотри: звѣзда горитъ ярчѣй...
О пой, моя желанная!

И до зари готовъ съ тобой
Вести бесѣду эту я...
Договори лишь мнѣ, допой,
Ты пѣсню недопѣтую!

81.

Буря на небѣ вечернемъ,
 Моря сердитаго шумъ.
 Буря на морѣ и думы —
 Много мучительныхъ думъ.

Буря на морѣ и думы —
 Хоръ возрастающихъ думъ —
 Черная туча за тучей,
 Моря сердитаго шумъ.

82. *Ивы и Березы.*

Березы сѣвера мнѣ милы;
 Ихъ грустный, опущенный видъ,
 Какъ рѣчь безмолвная могилы,
 Горячку сердца холодить.

Но ива, длинными листьями
 Упавъ на лоно ясныхъ водъ,
 Дружнѣй съ мучительными снами
 И дольше въ памяти живетъ.

Лія таинственныя слезы,
 По рощамъ и лугамъ роднымъ
 Про горе шепчутся березы
 Лишь съ вѣтромъ сѣвера однимъ;

Всю землю, грустно-сиротлива,
Считая родиной скорбей,
Плакучая склоняетъ ива
Вездѣ концы своихъ вѣтвей.

83. Фантазія.

Мы одни. Изъ сада въ стекла оконъ
Свѣтитъ мѣсяць. Тусклы наши свѣчи.
Твой душистый, твой послушный локонъ,
Развиваясь, падаетъ на плечи.

Что жъ молчимъ мы? Или самовластно
Царство тихой, свѣтлой ночи майской?
Иль поетъ и ярко такъ, и страстно,
Соловей, надъ розою китайской?

Знать цвѣты которыхъ нѣтъ завѣтнѣй
Распустились въ нѣгѣ своевольной.
Знать и кактусъ побѣлѣлъ столѣтній
И бананъ, и лотось богомольный.

Иль проснулись птички за кустами,
Тамъ гдѣ вѣтеръ колыхалъ ихъ гнѣзды,
И дрожа ревнивыми лучами,
Ближе, ближе къ намъ нисходятъ звѣзды?

На суку извилистомъ и чудномъ,
Пестрыхъ сказокъ пышная жилица,
Вся въ огнѣ, въ сіяньи изумрудномъ,
Надъ водой качается жаръ-птица;

Расписныя раковины блещутъ
Въ переливахъ чудной позолоты,
До луны жемчужной пѣной мешутъ
И алмазной пылью водометы;

Листья полны свѣтлыхъ насѣкомыхъ,
Все растеть и рвется вонъ изъ мѣры;
Много сновъ проносится знакомыхъ,
И на сердцѣ много сладкой вѣры;

Переходятъ радужныя краски,
Раздражая око свѣтомъ ложнымъ;
Мигъ еще... и нѣтъ волшебной сказки,
И душа опять полна возможнымъ.

Мы одни. Изъ сада въ стекла оконъ
Свѣтитъ мѣсяць... Тусклы наши свѣчи.
Твой душистый, твой послушный локонъ,
Развиваясь падаетъ на плечи.

84. Муза.

Не въ сумрачный чертогъ Наяды говорливой
Пришла она плѣнять мой слухъ самолюбивый
Разказомъ о щитахъ, герояхъ и коняхъ,
О шлемахъ кованыхъ и сломанныхъ мечяхъ.
Скрывая низкій лобъ подъ вѣтвию лавровой,
Съ цитарой золотой, иль изъ кости слоновой,
Ни разу на моемъ не прилегла плечѣ
Богиня гордая въ расшитой епанчѣ.
Мнѣ слуха не ласкалъ языкъ ея могучій

И гибкій, и простой, и звучный безъ созвучій;
По волѣ Піеридъ съ достоинствомъ пѣвца
Я не мечталъ стяжать широкаго вѣнца.
О, нѣтъ! Подъ дымкою ревнивой покрывала
Мнѣ Музу молодость иную указала:
Отягощала прядь душистая волосъ
Головку дивную узломъ тяжелыхъ косъ;
Цвѣты послѣдніе въ рукѣ ея дрожали;
Отрывистая рѣчь была полна печали
И женской прихоти, и серебристыхъ грезъ,
Невысказанныхъ мукъ и непонятныхъ слезъ.
Какой-то нѣгою томительной волнуемъ,
Я слушалъ какъ слова встрѣчались съ поцѣлуемъ,
И долго безъ нея душа была больна
И несказаннаго стремленія полна.

85.

Еще весны душистой нѣга
Къ намъ не успѣла низойти,
Еще овраги полны снѣга,
Еще зарей гремитъ телѣга
На замороженномъ пути;

Едва лишь въ полдень солнце грѣеть,
Краснѣетъ липа въ высотѣ,
Сквозя березникъ чуть желтѣетъ,
И соловей еще не смѣетъ
Запѣть въ смородинномъ куствѣ.

Но возрожденья вѣсть живая
Ужъ есть въ пролетныхъ журавляхъ,

И, ихъ глазами провожая,
Стоитъ красавица степная,
Съ румянцемъ сизымъ на щекахъ.

86. Колокольчикъ.

Ночь нѣма, какъ духъ безплотный,
Теплый воздухъ онѣмѣль;
Но какъ будто мимолетный
Колокольчикъ прозвенѣль.

Тотъ ли это, что мѣшаетъ
Вдалекѣ лѣсному сну
И, качаясь, набѣгаетъ
На ночную тишину?

Или этотъ, чуть замѣтный
Въ цвѣтникѣ моемъ и днемъ,
Узкодонный, разноцвѣтный —
На тычинкѣ подъ окномъ?

87.

Какъ бѣденъ нашъ языкъ! — Хочу и не могу...
Не передать того ни другу ни врагу,
Что буйствуетъ въ груди прозрачною волною!
Напрасно — вѣчное томленіе сердець,
И клонить голову маститую мудрець
Предъ этой ложью роковою.

Лишь у тебя, поэтъ, крылатый слова звукъ
Хватаеть налету и закрѣпляетъ вдругъ
И темный бредъ души и травъ неясный запахъ;
Такъ, для безбрежнаго покинувъ скудный долъ,
Летить за облака Юпитера орель,
Снопъ молніи неся мгновенный въ вѣрныхъ лапахъ.

88. *Сентябрьская Роза.*

За вздохомъ утреннимъ мороза,
Румянецъ усть пріотворя,
Какъ странно улыбнулась роза
Въ день быстролетный сентября!

Передъ порхающей синицей
Въ давно безлиственныхъ кустахъ,
Какъ дерзко выступать царицей
Съ привѣтомъ вѣшнимъ на устахъ,

Расцвѣсть въ надеждѣ неуклонной, —
Съ холодной разлучась грядой,
Прильнуть, послѣдней, опьяненной,
Къ груди хозяйки молодой!

89.

Не упрекай, что я смущаюсь,
Что я минувшее принесъ
И предъ тобою содрогаюсь
Подъ дуновеньемъ прежнихъ грезъ.

Тѣ грезы — жизнь ихъ осудила —
То — пеплъ давнишнихъ алтарей;
Но ихъ — побѣднымъ возмутила
Движеньемъ ты стопы своей.

Уже мерцаетъ свѣтъ, готовый
Все озарить, всему помочь,
И, согрѣваясь жизнью новой,
Росою счастья плачетъ ночь.

90.

Мы встрѣтились вновь послѣ долгой разлуки,
Очнувшись отъ тяжелой зимы;
Мы жали другъ другу холодныя руки
И плакали, плакали мы.

Но въ крѣпкихъ незримыхъ оковахъ сумѣли
Держать насъ людскіе умы;
Какъ часто въ глаза мы другъ другу глядѣли
И плакали, плакали мы!

Но вотъ засвѣтилось надъ черною тучей
И глянуло солнце изъ тьмы;
Весна, — мы сидѣли подъ ивой плакучей
И плакали, плакали мы.

91.

Ѣду ли ночью по улицѣ темной,
 Бури ль заслушаюсь въ пасмурный день —
 Другъ беззащитный, больной и бездомной
 Вдругъ предо мной промелькнетъ твоя тѣнь!

Сердце сожметъ мучительной думой.
 Съ дѣтства судьба не влюбила тебя:
 Бѣденъ и золь былъ отецъ твой угрюмой,
 Замужъ пошла ты — другого любя.

Мужъ тебѣ выпалъ недобрый на долю:
 Съ бѣшенымъ нравомъ, съ тяжелой рукой,
 Не покорила — ушла ты на волю,
 Да не на радость сошла и со мной...

Помнишь ли день, какъ больной и голодной
 Я унывалъ, выбивался изъ силъ?
 Въ комнатѣ нашей, пустой и холодной,
 Паръ отъ дыханья клубами ходилъ.

Помнишь ли трубъ заунывные звуки,
 Брызги дождя, полусвѣтъ, полутьму?
 Плакалъ твой сынъ, и холодныя руки
 Ты согрѣвала дыханьемъ ему.

Онъ не смолкалъ — и пронзительно звонокъ
 Былъ его крикъ... Становилось темнѣй;
 Вдоволь поплакалъ и умеръ ребенокъ...
 Бѣдная! слезъ безразсудныхъ не лей!

Съ горя да съ голоду завтра мы оба
Также глубоко и сладко заснемъ;
Купить хозяинъ, съ проклятьемъ, три гроба —
Вмѣстѣ свезуть и положить рядкомъ!..

Въ разныхъ углахъ мы сидѣли угрюмо.
Помню: была ты блѣдна и слаба;
Зрѣла въ тебѣ сокровенная дума,
Въ сердцѣ твоємъ совершалась борьба.

Я задремаль. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись какъ будто къ вѣнцу,
И черезъ часъ принесла торопливо
Гробикъ ребенку и ужинъ отцу.

Голодь мучительный мы утолили,
Въ комнатѣ темной зажгли огонекъ,
Сына одѣли и въ гробъ положили...
Случай насъ выручилъ? Богъ ли помогъ?

Ты не спѣшила печальнымъ признаньемъ,
Я ничего не спросилъ,
Только мы оба глядѣли съ рыданьемъ,
Только угрюмъ и озлобленъ я былъ!...

Гдѣ ты теперь? Съ нищетой горемычной
Злая тебя сокрушила борьба?
Или пошла ты дорогой обычной,
И роковая свершится судьба?

Кто-жъ защититъ тебя? Всѣ безъ изъятъя
Именемъ страшнымъ тебя назовутъ,
Только во мнѣ шевельнутся проклятья —
И бесполезно замрутъ!...

Я не люблю ироніи твоей.
 Оставь ее отжившимъ и не жившимъ,
 А намъ съ тобой, такъ горячо любившимъ,
 Еще остатокъ чувства сохранившимъ, —
 Намъ рано предаваться ей!

Пока еще застѣнчиво и нѣжно
 Свиданіе продлить желаешь ты,
 Пока еще кипятъ во мнѣ мятежно
 Ревнивыя тревоги и мечты —
 Не торопи развязки неизбежной!

И безъ того она не далека:
 Кипимъ сильнѣй, послѣдней жажды полны,
 Но въ сердцѣ тайный холодъ и тоска...
 Такъ осенью бурливѣе рѣка,
 Но холоднѣй бушующія волны.

93. Дума.

Сторона наша убогая
 Выгнать некуда коровушку.
 Проклинай житье мѣщанское,
 Да почесывай головушку.

Спи, не спи — валяйся по-печи,
 Каждый день не доѣдаючи,
 Трать задаромъ силу дюжую,
 Недоимку накопляючи.

Ужъ какъ нѣтъ бѣды кручиннѣ
Безъ работы парню маяться,
А пойдешь куда къ хозяевамъ —
Ни одинъ-то не нуждается!

У купца у Семипалова
Живуть люди не говѣючи,
Льютъ на кашу масло постное
Словно воду, не жалѣючи.

Въ праздникъ — жирная баранина,
Паръ надъ щами тучей носится,
Въ поль-обѣда распояшутся —
Вонъ изъ тѣла душа просится!

Ночь храпятъ, наѣвшись до-поту,
День придетъ — работой тѣшутся...
Эй! возьми меня въ работники,
Поработать руки чешутся!

Повели ты въ лѣто жаркое
Мнѣ пахать пески сыпучіе,
Повели ты въ зиму лютую
Вырубить лѣса дремучіе, —

Только трескъ стоялъ бы до-неба,
Какъ деревья бы валилися:
Вмѣсто шапки, бѣлымъ инеемъ
Волоса бы серебрилися!

94. Пѣсня убогаго странника.

Я лугами иду — вѣтеръ свищетъ въ лугахъ:
Холодно, странничекъ, холодно,
Холодно, родименькой, холодно!

Я лѣсами иду — звѣри воютъ въ лѣсахъ:
Голодно, странничекъ, голодно,
Голодно, родименькой, голодно!

Я хлѣбами иду — что вы тощи, хлѣба?
Съ холоду, странничекъ, съ холоду,
Съ холоду, родименькой, съ холоду!

Я стадами иду: что скотинка слаба?
Съ голоду, странничекъ, съ голоду,
Съ голоду, родименькой, съ голоду!

Я въ деревню: мужикъ! ты тепло ли живешь?
Холодно, странничекъ, холодно,
Холодно, родименькой, холодно!

Я въ другую: мужикъ! хорошо ли ѣшь, пьешь?
Голодно, странничекъ, голодно,
Голодно, родименькой, голодно!

Ужь я въ третью: мужикъ! что ты бабу бьешь?
Съ холоду, странничекъ, съ холоду,
Съ холоду, родименькой, съ холоду!

Я въ четверту: мужикъ! что въ кабакъ ты идешь?
Съ голоду, странничекъ, съ голоду,
Съ голоду, родименькой, съ голоду!

Я опять во луга — вѣтеръ свищетъ въ лугахъ:
Холодно, странничекъ, холодно,
Холодно, родименькой, холодно!

Я опять во лѣса — звѣри воютъ въ лѣсахъ:
Голодно, странничекъ, голодно,
Голодно, родименькой, голодно!

Я опять во хлѣба, —

Я опять во стада, —

и т. д.

АЛЕКСѢЙ ТОЛСТОЙ.

95.

По греблѣ неровной и тряской,
Вдоль мокрыхъ рыбацкихъ сѣтей,
Дорожная ѣдетъ коляска,
Сижу я задумчиво въ ней;

Сижу и смотрю я дорогой
На сѣрый и пасмурный день,
На озера берегъ отлогій,
На дальній дымокъ деревень.

По греблѣ, со взглядомъ угрюмымъ,
Проходитъ оборванный жидъ;
Изъ озера съ пѣной и шумомъ
Вода черезъ греблю бѣжитъ;

Тамъ мальчикъ играетъ на дудкѣ,
Забравшись въ зеленый тростникъ;
Въ испугъ взлетѣвшія утки
Надъ озеромъ подняли крикъ;

Близъ мельницы старой и шаткой
Сидять на травѣ мужики;
Телѣга съ разбитой лошадкой
Лѣниво подвозить мѣшки...

Мнѣ кажется все такъ знакомо,
Хоть не былъ я здѣсь никогда,
И крыша далекаго дома,
И мальчикъ, и лѣсъ, и вода,

И мельницы говоръ унылый
И ветхое въ полѣ гумно —
Все это когда-то ужъ было,
Но мною забыто давно.

Такъ точно ступала лошадка,
Такіе жъ тащили мѣшки,
Такіе жъ у мельницы шаткой
Сидѣли въ травѣ мужики;

И такъ же шель жидъ бородатый,
И такъ же шумѣла вода —
Все это ужъ было когда-то,
Но только не помню — когда...

96. *Тропарь*

Какая сладость въ жизни сей
Земной печали не причастна?
Чье ожиданье не напрасно,
И гдѣ счастливый межъ людей?

Все то превратно, все ничтожно,
Что мы съ трудомъ приобрѣли —
Какая слава на земли
Стоить тверда и непреложна?
Все пепель, призракъ, тѣнь, и дымъ,
Исчезнетъ все, какъ вихоръ пыльный,
И передъ смертью мы стоимъ
И безоружны, и безильны.
Рука могучаго слаба,
Ничтожны царскія велѣнья —
Прійми усопшаго раба,
Господь, въ блаженныя селенья!

Какъ ярый витязь смерть нашла,
Меня какъ хищникъ низложила,
Свой зѣвъ разинула могила
И все житейское взяла.
Спасайтесь, сродники и чада,
Изъ гроба къ вамъ взываю я,
Спасайтесь, братья и друзья,
Да не узрите пламя ада!
Вся жизнь есть царство суеты,
И, дуновенье смерти чуя,
Мы увядаемъ какъ цвѣты —
Почто же мы мятемся всуе?
Престолы наши суть гроба, —
Чертоги наши разрушенье —
Прійми усопшаго раба,
Господь, въ блаженныя селенья!

Средь груды тлѣющихъ костей
Кто царь, кто рабъ, судья иль воинъ:
Кто царства Божія достоинъ

И кто отверженный злодѣй?
О братья, гдѣ сребро и золото,
Гдѣ сонмы многіе рабовъ?
Среди невѣдомыхъ гробовъ
Кто есть убогій, кто богатый?
Все пепель, дымъ, и пыль, и прахъ,
Все призракъ, тѣнь и привидѣнье —
Лишь у тебя, на небесахъ,
Господь, и пристань, и спасенье!
Исчезнетъ все, что было плоть,
Величье наше будетъ тлѣнье —
Прими усопшаго, Господь,
Въ твои блаженныя селенья!

И Ты, предстательница всѣмъ,
И Ты, заступница скорбящимъ,
Къ Тебѣ о братѣ, здѣсь лежащемъ,
Къ Тебѣ, Святая, вопіемъ!
Моли божественнаго Сына,
Его, Пречистая, моли,
Дабы отжившій на земли
Оставилъ здѣсь свои кручины!
Все пепель, прахъ, и дымъ, и тѣнь,
О, други, призраку не вѣрьте!
Когда дохнетъ въ нежданный день
Дыханье тлительное смерти,
Мы всѣ поляжемъ какъ хлѣба,
Серпомъ подрѣзанные въ нивахъ —
Прійми усопшаго раба,
Господь, въ селеніяхъ счастливыхъ!

Иду въ незнаемый я путь,
Иду межъ страха и надежды;

Мой взоръ угасъ, остыла грудь,
Не внемлетъ слухъ, сомкнуты вѣжды;
Лежу безгласенъ, недвижимъ,
Не слышу братскаго рыданья,
И отъ кадила синій дымъ
Не мнѣ струить благоуханье;
Но вѣчнымъ сномъ пока я сплю,
Моя любовь не умираетъ,
И ею, братья, васъ молю,
Да каждый къ Господу взываетъ:
Господь! Въ тотъ день, когда труба
Вострубитъ міра представленья —
Прійми усопшаго раба
Въ Твои блаженныя селенья!

97.

О, другъ! ты жизнь влачишь, безъ пользы увядая,
Пригнутая къ землѣ какъ тополь молодая;
Поблекла свѣжая вѣтвей твоихъ краса,
И листья кроетъ пыль и дольная роса.
О, долго ль быть тебѣ печальной и согнутой!
Смотри, пришла весна, твои не крѣпки путы —
Воспрянь и подымись трепещущимъ столбомъ,
Вершиною шумя въ эфирѣ голубомъ!

НИКИТИНЪ.

98.

Вырыта заступомъ яма глубокая.
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
Жизнь безпріютная, жизнь терпѣливая,
Жизнь, какъ осенняя ночь, молчаливая —

Горько она, моя бѣдная, шла
И, какъ степной огонекъ, замерла.

Что же? усни, моя доля суровая!
Крѣпко закроется крышка сосновая,
Плотно сырою землею придавится,
Только однимъ человѣкомъ убавится...
Убыль его никому не больна,
Память о немъ никому не нужна!...

Вотъ она — слышится пѣснь беззаботная —
Гостья погоста, пѣвунья залетная,
Въ воздухѣ синемъ на волѣ купается;
Звонкая пѣснь серебромъ разсыпается...
Тише!... О жизни поконченъ вопросъ:
Больше не нужно ни пѣсень, ни слезъ!

СЛУЧЕВСКІЙ.

99. Послѣ Казни въ Женевѣ.

Тяжелый день... Ты уходилъ такъ вяло...
Я видѣлъ казнь: багровый эшафотъ
Давилъ, какъ будто-бы, сбѣжавшійся народъ,
И солнце ярко на топоръ сіяло.

Казнили. Голова отпрянула, какъ мячъ!
Стеръ полотенцемъ кровь съ обѣихъ рукъ палачъ,
А красный эшафотъ поспѣшно разобрали,
И увезли, и площадь поливали.

Тяжелый день... Ты уходилъ такъ вяло...
Мнѣ снилось: я лежалъ на страшномъ колесѣ,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости всѣ...

И я вытягивался въ пытку небывалой
И, ставъ звенящею, чувствительной струной, —
Къ какой-то схимницѣ, больной и исхудалой,
На балалайку вдругъ попалъ едва живой!

Старуха страшная меня облюбовала
И нервнымъ пальцемъ дергала меня,
«Коль славенъ нашъ Господь», тоскливо напѣвала,
И я вторилъ ей — жалобно звеня!...

100. Карлы.

Въ водахъ голубого бассейна
Купаются жены Гуссейна;
Какъ мраморъ, тѣла ихъ бѣлы, —
Достойны великой хвалы...

Курносы, черны и косматы,
Арапки несутъ ароматы,
Онѣ ихъ и сыплютъ, и льютъ
И дивныя пѣсни поютъ...

Любимцы могучаго бея,
На женъ исподлобья глазѣя,
Два старые карла сидятъ
И тоже тихонько гнусятъ...

Вотъ жены выходятъ, толпятся,
На пышныя ложи ложатся,
И къ нимъ, — не по росту грѣшны, —
Идутъ посидѣть горбуны...

Ну, Богъ съ нимъ, съ наслѣдственнымъ беемъ!...
Мы всё что-нибудь да имѣемъ,
Но карламъ-то, карламъ за что?
И два ихъ! Могло-бы быть сто!

101. За Сѣверной Двиною.

(На рѣкъ Тоймъ).

Въ лѣсахъ замкнувшихся великимъ, мертвымъ кругомъ,
Въ большой прогалинѣ, и свѣтлой, и живой,
Расчищенной давно и топоромъ, и плугомъ,
Стою задумчивый надъ тихою рѣкой.

Раскинуты вокругъ по скатамъ горъ селенья,
На небѣ облака, что думы на челѣ,
И сумракъ двигаетъ туманныя видѣнья,
И мѣсяцъ свѣтится въ полупрозрачной мглѣ.

Готовится заснуть спокойная долина;
Кой-гдѣ окно избы мерцаетъ огонькомъ,
И церковь древняя, какъ обликъ исполина,
Слоящійся туманъ пронзила шишакомъ.

Еще поетъ рожокъ послѣдній, замолкая.
Въ ночи такъ ясенъ звукъ! Тутъ — люди говорятъ,

Тамъ — дальній переливъ встревоженного лая,
Повсюду — мягкій звонъ покоящихся стадъ.

И Тойма тихая, чуть слышными струями,
Блестая искрами серебряной волны,
Свиваетъ легкими, волшебными цѣпями
Съ молчаньемъ вечера мои живые сны.

Край безъ исторіи! Край мирнаго покоя,
Живущій въ вѣяньи родимой старины,
Въ обычной ясности семейственного строя,
Въ покорности дѣтей и скромности жены.

Открытый всѣмъ страстямъ суровой непогоды
На мертвомъ холодѣ нетающихъ болотъ —
Онъ жилъ безъ чаяній мятущейся свободы,
Онъ не имѣлъ рабовъ, но и не зналъ господъ...

Подъ вѣчнымъ бременемъ работы и терпѣнья,
Прошелъ онъ день за днемъ далекіе вѣка,
Не зная помысловъ враждебнаго стремленья —
Какъ ты, далекая, спокойная рѣка!...

Но жизнь иныхъ основъ, упорно наступая,
Раздвинувши лѣса, долину обнажить, —
Создасть, какъ и вездѣ, бытописанья края
И пестрой новизной обильно подарить.

Но будетъ-ли тогда, какъ и теперь, возможно
Надъ этой тихою невѣдомой рѣкой,
Пришельцу отдохнуть такъ сладко, нетревожно,
И такъ живительно усталою душой?

И будутъ ли тогда счастливыи люди эти,
Что мирно спать теперь, хоть жизнь имъ не легка?...
Ночь! Стереди ихъ сонъ! Покойтесь, Божьи дѣти,
Струись, баюкай ихъ, счастливая рѣка!

ВЛАДИМИРЪ СОЛОВЬЕВЪ.

102. На Саймъ зимой.

Вся ты закуталась шубой пушистой,
Въ снѣ безмятежномъ затихнувъ лежишь.
Вѣтъ не смертью здѣсь воздухъ лучистый,
Эта прозрачная, бѣлая тишь.

Въ невозмутимомъ покоѣ глубокомъ,
Нѣтъ, не напрасно тебя я искалъ.
Образъ твой тотъ же предъ внутреннимъ окомъ,
Фея — владычица сосенъ и скалъ!

Ты непорочна, какъ снѣгъ за горами,
Ты многодумна, какъ зимняя ночь,
Вся ты въ лучахъ, какъ полярное пламя,
Темнаго хаоса свѣтлая дочь!

БАЛЬМОНТЪ.

103. Придорожныя Травы.

Спите, полумертвые увядшіе цвѣты,
Такъ и не узнавшіе расцвѣта красоты,
Близъ путей заѣзженныхъ взрощенные Творцомъ,
Смятые невидѣвшимъ тяжелымъ колесомъ.

Въ часъ, когда всѣ празднуютъ рожденіе весны,
Въ часъ, когда сбываются несбыточные сны,
Всѣмъ дано безумствовать, лишь вамъ однимъ нельзя:
Возлѣ васъ раскинулась заклѣтая стезя.

Вотъ, полуизломаны, лежите вы въ пыли,
Вы, что въ небо дальнее свѣтло глядѣть могли,
Вы, что встрѣтить счастье могли бы, какъ и всѣ,
Въ женственной, въ нетронутой, въ дѣвической красѣ.

Спите же, взглянувшіе на страшный пыльный путь,
Вашимъ равнымъ — царствовать, а вамъ — навѣкъ
уснуть.

Богомъ обдѣленные на праздникъ мечты,
Спите, не выдавшіе разцвѣта красоты.

ФЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.

104. Ангель Благого Молчанія.

Грудь ли томится отъ зною,
Страшно ль смятеніе вьюгъ, —
Только бы ты былъ со мною,
Сладкій и радостный другъ.

Ангель благого молчанья,
Тихій смиритель страстей,
Нѣтъ ни вѣнца, ни сіянья
Надъ головою твоей.

Кротко потуплены очи,
Станъ твой окутала мгла,

Тонкою влагою ночи
Вѣютъ два легкихъ крыла.

Рѣшь надъ дальнимъ предѣломъ
Ты безъ меча, безъ луча, —
Только на поясѣ бѣломъ
Два золотые ключа.

Другъ неизмѣнный и нѣжный,
Тѣнью прохладною крыль
Вѣкъ мой безумно-мятежный
Ты отъ толпы заслонилъ.

Въ тяжкіе дни утомленья,
Въ ночи безсильныхъ тревогъ,
Ты отклонилъ помышленья
Отъ недоступныхъ дорогъ.

105.

Скифскія суровыя дали,
Холодная, темная родина моя,
Гдѣ я изнемогъ отъ печали,
Гдѣ змѣя душилъ моего соловья!

Родился бы я на Мадагаскарѣ,
Говорилъ бы нарѣчіемъ, гдѣ много а,
Слагалъ бы поэмы о любовномъ пожарѣ,
О нагихъ красавицахъ на островѣ Самоа.

Дома ходилъ бы я совсѣмъ голый,
Только малою алою тканью бедра объявъ,
Упивался бы я, безкрайно веселый,
Дыханьемъ тропическихъ травъ.

106. Тамъ.

Я въ лодкѣ Харона, съ гребцомъ безучастнымъ,
Какъ олово, густы тяжелыя воды.
Туманная сырость надъ Стиксомъ безгласнымъ.
Изъ темнаго камня небесные своды.
Вотъ Лета. Не слышу я лепета Леты.
Беззвучны удары раскидистыхъ весель.
На камень небесный багровые свѣты
Фонарь нашъ неяркій и трепетный бросиль.
Вода непрозрачна и скована лѣнью...
Разбужены свѣтомъ, испуганы тѣнью,
Преслѣдуютъ лодку въ безшумной тревогѣ
Тупая сова, двѣ летучія мыши,
Упырь тонкокрылый, сѣдой и безногій...
Но лодка скользить не быстрѣй и не тише.
Упырь меня тронулъ крыломъ своимъ влажнымъ...
Бездумно слѣжу я за стаяй послушной,
И все мнѣ здѣсь кажется странно-неважнымъ.
И сердце, какъ тамъ, на землѣ — равнодушно.
Я помню, конца мы искали порою,
И ждали и вѣрили смертной надеждѣ...
Но смерть оказалась такой же пустою,
И такъ же мнѣ скучно, какъ было и прежде.
Ни боли, ни счастья, ни страха, ни мира,
Нѣтъ даже забвенія въ ропотѣ Леты...
Надъ Стиксомъ безгласнымъ туманно и сыро,
И алые бродятъ по камнямъ отсвѣты.

107. *Въ Полдень.*

Свершилось! молодость окончена!
 Стою надъ новой крутизной.
 Какъ было ясно, какъ утончено
 Сіяніе утра надо мной.

Какъ жрецъ, привѣтствуя мгновенія,
 Великій праздникъ первыхъ встрѣчь,
 Впиваль всѣ краски и всѣ тѣни я,
 Чтобъ ихъ молитвенно сберечь.

И чудомъ правды примиряющей
 Мнѣ въ полдень пламенный дано
 Изъ чаши длительно сжигающей
 Испить священное вино:

Признавъ въ душѣ, навстрѣчу кинутой
 Сны потаенные свои,
 Увидѣть небосводъ, раздвинутый
 Завѣтной радугой любви,

И сжать уста устами вѣрными,
 И жизнь случайностямъ предать,
 И надъ просторами безмѣрными
 На крыльяхъ страсти задрожать!

Зарю, закатно разоперстую,
 Уже предчувствуя вдали,
 Смотрю на бездну, мнѣ отверстую,
 На шири моря и земли.

Паду, но къ цѣли ослѣпительной
Вторично мнѣ не вознестись,
И я съ поспѣшностью томительной
Всѣмъ существомъ вливаю высь.

АННЕНСКІЙ.

108. Романсъ безъ музыки.

Въ непроглядную осень — туманны огни,
И холодныя брызги летять,
Въ непроглядную осень туманны огни,
Только слѣдъ отъ колесъ золотять.
Въ непроглядную осень туманны огни,
Но туманнѣй отравленный чадъ,
Въ непроглядную осень мы вмѣстѣ, одни,
Но сердца наши, сжавшись, молчать...
Ты отъ губъ моихъ кубокъ возьмешь непочать,
Потому что туманны огни...

109. Зимній поѣздъ (Внезапный снѣгъ).

Снѣговъ нѣмую черноту
Прожгло два глаза изъ тумана,
И дымъ остался на лету
Горящимъ золотомъ фонтана.

Я знаю — пышущій драконъ,
Весь занесенъ пушистымъ снѣгомъ,
Сейчасъ порветъ мятежнымъ бѣгомъ
Завороженной дали сонъ.

А съ нимъ, усталые рабы,
Обречены холодной ямъ,
Влачатся тяжкіе гробы,
Скрипя и лязгая цѣпями.

Пока съ разбитымъ фонаремъ,
На половину притушеннымъ,
Среди кошмара думъ и дремъ
Проходитъ Полночь по вагонамъ...

Она — какъ призрачный монахъ,
И чѣмъ ея дозоры глуше,
Тѣмъ больше чада въ черныхъ снахъ
И затеканій и удушій;

Тѣмъ больше словъ, какъ бы не словъ,
Тѣмъ отвратительнѣй дыханье,
И запрокинутыхъ головъ
Въ подушкахъ красныхъ колыханье.

Какъ воръ, намѣтившій карманъ,
Она тиха, пока мы живы,
Лишь молча точитъ свой дурманъ
Да тушитъ черные наплывы.

А снизу стукъ, а съ боку гулъ,
И все безцѣльнѣй, безымяннѣй...
И мерзокъ тѣмъ, кто не заснулъ,
Хаось полусуществованій!

Но таетъ ночь... И дряхль и сѣдъ,
Еще вчера Закатъ осенній,
Приподнимается Разсвѣтъ
Съ одра его томившей Тѣни.

Забывшимъ за ночь свой недугъ
Въ глаза опять глядять терзанье,
И дребезжить сильнѣе стукъ,
Дробя налеты обмерзанья.

Пары желтѣющей стѣной
Загородили красный пламень...
...И стойко долженъ зубъ больной
Перегрызать холодный камень.

110. *Моя Тоска.*

Пусть травы смѣняются надъ капищемъ волненья,
И восковой въ гробу забудется рука,
Мнѣ кажется, межъ васъ одно недоумѣнье,
Все будетъ жить мое, одна моя Тоска...

Нѣтъ, не о тѣхъ, увы! кому столь недостойно,
Ревниво, бережно и страстно былъ я милъ...
О, сила любящихъ и въ мукѣ такъ спокойна,
У женской нѣжности завидно много силъ.

Да и при чемъ бы здѣсь недоумѣнья были —
Любовь вѣдь свѣтлая, она — кристалль, эфиръ...
Моя же безлюбая — дрожить, какъ лошадь въ мыль!
Ей — пирь отравленный, мошеннический пирь!

Въ вѣнкѣ изъ тронутыхъ, изъ вянущихъ азалий
Собралась пѣть она... Не смолкъ и первый стихъ,
Какъ маленькихъ дѣтей у ней перевязали,
Сломали руки имъ и ослѣпили ихъ.

Она безполая, у ней для всѣхъ улыбки,
Она притворщица, у ней порочный вкусъ —
Качаетъ цѣлый день она пустыя зыбки
И образокъ въ углу — Сладчайшій Іисусъ...

Я выдумалъ ее — и все жъ она видѣнье,
Я не люблю ее — и мнѣ она близка;
Недоумѣлая, мое недоумѣнье,
Всегда веселая, она моя Тоска.

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.

III. Тризна Діониса.

Зимой, порою тризнъ вакхальныхъ,
Когда мэнадъ безумный хоръ
Смятеньемъ воплей погребальныхъ
Тревожитъ сонъ пустынныхъ горъ, —

На высотахъ, гдѣ Мельпомены
Давно умолкнулъ страшный гласъ
И межъ развалинъ древней сцены
Алтарь вакхическій угасъ, —

Въ благоговѣнны и печали
Воззвавъ къ тому, чей былъ сей домъ,
Мэнаду новую вѣнчали
Мы Діонисовымъ вѣнцомъ.

Сплетались пламенные розы
Съ плющемъ, отрадой дерзкихъ нѣгъ,
И на листахъ, какъ чьи-то слезы,
Дрожа, сверкалъ алмазный снѣгъ...

Тогда плѣнительно-мятежной
Ты пѣснью огласила вдругъ
Покрытый пеленою снѣжной
Священный Вакховъ полкуругъ.

Ты пѣла, вдохновеньемъ оргій,
И опьяняясь, и пьяня,
И беспощадные восторги,
И темный гробъ земного дня:

«Увейте гроздьемъ тирсы, чаши!
Властнѣй боговъ, сильнѣй Судьбы,
Несите упоенья ваши!
Возстаньте — боги, не рабы!

«Земныхъ обѣтовъ и законовъ
Дерзните преступить порогъ, —
И въ мукѣ нѣгъ, и въ пирѣ стоновъ
Воскреснетъ изступленный богъ!...»

Дуль вѣтеръ; осыпались розы;
Склонялся скорбный кипарисъ...
Обнажены, роптали лозы:
«Почилъ великій Діонисъ!»

И съ тризны мертвенно-вакхальной
Мы шли, туманны и грустны;
И былъ далекъ землѣ печальной
Возвратъ языческой весны.

«Что блаженнѣй? Упоеній
Раздвигать цвѣтущей пологъ, —
Истощивъ ли наслажденья,
Отягченною ногою
Попирать порогъ увялый?»

«Что блаженнѣй? Въ нѣжныхъ взорахъ
Дерзкихъ ласкъ читать призывы —
Или видѣть очи милой,
Утомленная тобою,
Безъ огня и безъ желаній?»

Такъ Эротъ, мой искуситель,
Испыталъ меня коварно,
Осчастливленнаго милой;
Я жь, подругой умудренный,
Избѣжалъ сѣтей лукавыхъ:

«Вожделѣннѣй, сынъ Киприды,
Въ угашенныхъ взорахъ милой,
Безъ восторга, безъ призывовъ, —
Воспалять лобзаньемъ новымъ
Жадной страсти ѣдкій пламень...

«Ахъ, съ порога совершеній
Вожделѣннѣй возвратиться
Къ изступленіямъ ненасытнымъ!...»
И смѣясь, Эротъ воскликнулъ:
«Другъ, вернись: ты ихъ достоинъ!»

113.

Гадай и жди. Среди полночи
Въ твоёмъ окошкѣ, милый другъ,
Зажгутся дерзостныя очи,
Послышится условный стукъ.

И мимо, задувая свѣчи,
Какъ нѣкій Духъ, закрывъ лицо,
Съ надеждой невозможной встрѣчи
Пройдетъ на милое крыльцо.

114. *Незнакомка.*

По вечерамъ надъ ресторанами
Горячій воздухъ дикъ и глухъ,
И править окриками пьяными
Весенній и тлетворный духъ.

Вдали, надъ пылью переулочной,
Надъ скукой загородныхъ дачъ,
Чуть золотится крендель булочный
И раздается дѣтскій плачь.

И каждый вечеръ, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канавъ гуляютъ съ дамами
Испытанные остряки.

Надъ озеромъ скрипять уключины,
И раздается женскій визгъ,
А въ небѣ, ко всему приученный,
Безмысленно кривится дискъ.

И каждый вечеръ другъ единственный
Въ моемъ стаканѣ отражень
И влагой терпкой и таинственной,
Какъ я, плѣненъ и оглушенъ.

А рядомъ у сосѣднихъ столиковъ
Лакеи сонные торчатъ,
Пъ пьяницы съ глазами кроликовъ
«In vino veritas!» кричатъ.

И каждый вечеръ, въ часъ назначенный
(Иль это только снится мнѣ?)
Дѣвичій станъ, шелками схваченный,
Въ туманномъ движется окнѣ.

И медленно, пройдя межъ пьяными,
Всегда безъ спутниковъ, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И вѣютъ древними повѣрьями
Ея упругіе шелка,
И шляпа съ траурными перьями,
И въ кольцахъ узкая рука.

И странной близостью закованный
Смотрю на темную вуаль,
И вижу берегъ очарованный
И очарованную даль.

Глухія тайны мнѣ поручены,
Мнѣ чье-то солнце вручено,
И всѣ души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненныя
Въ моемъ качаются мозгу,
И очи синія бездонныя
Цвѣтутъ на дальнемъ берегу.

Въ моей душѣ лежитъ сокровище,
И ключъ поручень только мнѣ!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина въ винѣ.

115. *На полѣ Куликовомъ.*

1.

Рѣка раскинулась. Течеть, груститъ лѣнливо
И моетъ берега.

Надъ скудной глиной желтаго обрыва
Въ степи грустятъ стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Намъ ясенъ долгій путь!
Нашъ путь — стрѣлой татарской древней воли
Пронзилъ намъ грудь.

Нашъ путь — степной, нашъ путь — въ тоскѣ без-
брежной,

Въ твоей тоскѣ, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озаримъ кострами
Степную даль.
Въ степномъ дыму блеснетъ святое знамя
И ханской сабли сталь...

И вѣчный бой! Покой намъ только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летить, летить степная кобылица
И мнетъ ковыль...

И нѣтъ конца! Мелькаютъ версты, кручи...
Останови!
Идутъ, идутъ испуганныя тучи,
Закатъ въ крови!

Закатъ въ крови! Изъ сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нѣтъ! Степная кобылица
Несется вскачь!

*

2.

Мы, самъ другъ, надъ степью въ полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назадъ.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричать...

На пути — горючій бѣлый камень.
За рѣкой — поганая орда.
Свѣтлый стягъ надъ нашими полками
Не взиграетъ больше никогда.

И, къ землѣ склонившись головою,
Говорить мнѣ другъ: — Остри свой мечъ,
— Чтобъ не даромъ биться съ татарвою,
— За святое дѣло мертвымъ лечь!

Я — не первый воинъ, не послѣдній,
Долго будетъ родина больна.
Помяни-жъ за раннею обѣдней
Мила друга, свѣтлая жена!

3.

Въ ночь, когда Мамай залегъ съ ордою
Степи и мосты,
Въ темномъ полѣ были мы съ тобою. —
Развѣ знала Ты?

Передъ Дономъ темнымъ и зловѣщимъ,
Средь ночныхъ полей,
Слышалъ я твой голосъ сердцемъ вѣщимъ
Въ крикахъ лебедей.

Съ полуночи тучей возносила
Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
Голосила мать.

И чертя круги, ночные птицы
Рѣяли вдали.
А надъ Русью тихія зарницы
Князя стерегли.

Орлій клекоть надъ татарскимъ станомъ
Угрожалъ бѣдой,

А Непрядва убралась туманомъ,
Что княжна фатой,

И съ туманомъ надъ Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла въ одеждѣ свѣтъ струящей,
Не спугнувъ коня.

Серебромъ волны блеснула другу
На стальномъ мечѣ.
Освѣжила пыльную кольчугу
На моемъ плечѣ.

И когда на утро, тучей черной,
Двинулась орда,
Быль въ щитѣ Твой ликъ нерукотворный
Свѣтель навсегда.

4.

Опять съ вѣковою тоскою
Пригнулись къ землѣ ковыли.
Опять за туманной рѣкою
Ты кличешь меня издали...

Умчались, пропали безъ вѣсти
Степныхъ кобылицъ табуны,
Развязаны дикія страсти
Подъ игомъ ущербной луны.

И я съ вѣковою тоскою
Какъ волкъ подъ ущербной луной,
Не знаю, что дѣлать съ собою,
Куда мнѣ летѣть за тобой.

Я слушаю рокоты съчи
И трубные крики татаръ,
Я вижу надъ Русью далече
Широкой и тихий пожаръ.

Объятый тоскою могучей,
Я рыщу на бѣломъ конѣ...
Встрѣчаются вольныя тучи
Во мгlistой ночной вышинѣ.

Вздымаются свѣтлыя мысли
Въ растерзанномъ сердцѣ моемъ,
И падаютъ свѣтлыя мысли,
Сожженные темнымъ огнемъ...

— Явись, мое дивное диво!
— Быть свѣтлымъ меня научи!
Вздымается конская грива...
За вѣтромъ зываютъ мечи...

5.

*И мглою бѣдѣ неотразимыхъ
Грядущій день заволокло.*

Вл. Соловьевъ.

Опять надъ полемъ Куликовымъ
Взошла и расточилась мгла,
И словно облакомъ суровымъ
Грядущій день заволокла.

За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молнии боевой.

Но узнаю тебя, начало
Высокихъ и мятежныхъ дней!
Надъ вражьемъ станомъ, какъ бывало,
И плескъ, и трубы лебедей.

Не можетъ сердце жить покоемъ,
Не даромъ тучи собрались.
Доспѣхъ тяжелъ, какъ передъ боемъ,
Теперь твой часъ насталь. — Молись!

116. Постъщеніе.

Г о л о с ь.

То не ели, не тонкія ели
На закатѣ подъемлютъ кресты,
То въ дали снѣговой заалѣли
Мои нѣжные, милый, персты.
Унесенная бѣлой метелью
Въ глубину, въ бездыханность мою, —
Вотъ я вновь надъ твоею постелью
Наклонилась, дышу, узнаю...
Я сквозь ночи, сквозь долгія ночи,
Я сквозь темныя ночи — въ вѣнцѣ.
Вотъ они, еще синія очи
На моемъ постарѣвшемъ лицѣ!
Въ твоемъ голосѣ — возгласы моря,
На лицѣ твоемъ — жала огня,
Но читаю въ испуганномъ взорѣ,
Что ты помнишь и любишь меня.

Второй голосъ.

Старый домъ мой пронизанъ метелью,
И остылъ одинокій очагъ.
Я привыкъ, чтобъ надъ этой постелью
Наклонялся лишь пристальный врагъ.
И душа для видѣній ослѣпла,
Если вспомню, — лишь вѣтръ налетитъ,
Лишь рубинъ раскаленный изъ пепла,
Мой обугленный ликъ опалитъ!
Я не смѣю взглянуть въ твои очи,
Все, что было, — далеко оно.
Долгихъ лѣтъ нескончаемой ночи
Страшной памятью сердце полно.

117.

Какъ тяжело мертвецу среди людей
Живымъ и страстнымъ притворяться!
Но надо, надо въ общество втираться,
Скрывая для карьеры лязгъ костей...

Живые спать. Мертвецъ встаетъ изъ гроба,
И въ банкъ идетъ, и въ судъ идетъ, въ сенатъ...
Чѣмъ ночь бѣлѣе, тѣмъ чернѣе злоба,
И перья торжествующе скрипятъ.

Мертвецъ весь день трудится надъ докладомъ.
Присутствіе кончается. И вотъ —
Нашептываетъ онъ, виляя задомъ,
Сенатору скабресный анекдотъ...

Ужь вечерь. Мелкій дождь зашлепаль грязью
Прохожихъ, и дома, и прочій вздоръ...
А мертвеца — къ другому безобразью
Скрежещущій несетъ таксомоторъ.

Въ залъ многолюдный и многоколонный
Спѣшитъ мертвецъ. На немъ — изящный фракъ.
Его дарятъ улыбкой благосклонной
Хозяйка-дура и супругъ дуракъ.

Онъ изнемогъ отъ дня чиновной скуки,
Но лязгъ костей музыкой заглушень...
Онъ крѣпко жметъ пріятельскія руки —
Живымъ, живымъ казаться долженъ онъ!

Лишь у колонны встрѣтится очами
Съ подругою — она, какъ онъ, мертва.
За ихъ условно свѣтскими рѣчами
Ты слышишь настоящія слова:

— Усталый другъ, мнѣ странно въ этомъ залѣ.
— Усталый другъ, могила холодна.
— Ужь полночь. — Да, но вы не приглашали
На вальсъ NN. Она въ васъ влюблена...

А тамъ — NN ужъ ищетъ взоромъ страстнымъ
Его, его — съ волненіемъ въ крови...
Въ ея лицѣ, дѣвически прекрасномъ,
Безмысленный восторгъ живой любви...

Онъ шепчетъ ей незначашія рѣчи;
Плѣнительныя для живыхъ слова,

И смотреть онъ, какъ розовѣютъ плечи,
Какъ на плечо склонилась голова.

И острый ядъ привычно-свѣтской злости
Съ нездѣшной злостью расточаетъ онъ...
— Какъ онъ уменъ! Какъ онъ въ меня влюбленъ.

Въ ея ухахъ — нездѣшнѣй, странный звонъ:
То кости лязгаютъ о кости.

118.

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Безмысленный и тусклый свѣтъ.
Живи еще хоть четверть вѣка —
Все будетъ такъ. Исхода нѣтъ.

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, какъ встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

119. *Художникъ.*

Въ жаркое лѣто и въ зиму метельную,
Въ дни вашихъ свадебъ, торжествъ, похоронъ,
Жду, чтобъ спугнулъ мою скуку смертельную
Легкій, доселѣ неслышанный звонъ.

Вотъ онъ — возникъ. И съ холоднымъ вниманіемъ
Жду, чтобъ понять, закрѣпить и убить.

И передъ зоркимъ моимъ ожиданіемъ
Тянетъ онъ еле примѣтную нить.

Съ моря ли вихрь? Или сирины райскіе
Въ листьяхъ поютъ? Или время стоитъ?
Или осыпали яблони майскія
Снѣжный свой цвѣтъ? Или ангель летитъ?

Длятся часы, міровое несущіе.
Ширятся звуки, движенье и свѣтъ.
Прошлое страстно глядится въ грядущее.
Нѣтъ настоящаго. Жалкаго — нѣтъ.

И, наконецъ, у предѣла зачатія
Новой души, неизвѣданныхъ силъ, —
Душу сражаетъ, какъ громомъ, проклятіе:
Творческій разумъ осилилъ — убилъ.

И замыкаю я въ клѣтку холодную
Легкую, добрую птицу свободную,
Птицу, хотѣвшую смерть унести,
Птицу, летѣвшую душу спасти.

Вотъ моя клѣтка — стальная, тяжелая,
Какъ золотая, въ вечернемъ огнѣ.
Вотъ моя птица, когда-то веселая,
Обручъ качаетъ, поетъ на окнѣ.

Крылья подрѣзаны, пѣсни заучены.
Любите вы подъ окномъ постоятъ?
Пѣсни вамъ нравятся. Я же, измученный,
Новаго жду — и скучаю опять.

120.

Довольно: не жди, не надѣйся, —
 Разсѣйся, мой бѣдный народъ!
 Въ пространство пади и разбейся
 За годомъ мучительный годъ.

Вѣка нищеты и безволя...
 Позволь же, о родина мать,
 Въ сырое, въ пустое раздолье,
 Въ раздолье твое, прорыдать, —

Туда, на равнинѣ горбатой,
 Гдѣ стая зеленыхъ дубовъ
 Волнуется кипой подъятой
 Въ косматый свинецъ облаковъ,

Гдѣ по-полю Оторопь рыщетъ,
 Возставъ сухорукимъ кустомъ,
 И въ вѣтеръ пронзительно свищетъ
 Вѣтвистымъ своимъ лоскутомъ,

Гдѣ въ душу мнѣ смотря изъ ночи,
 Возставши надъ сѣтью бугровъ,
 Жестокія желтыя очи
 Безумныхъ твоихъ кабаковъ, —

Туда, гдѣ смертей и болѣзней
 Лихая прошла колея, —
 Исчезни въ пространство, исчезни,
 Россія, Россія моя.

121. *Святая Русь.*

Суздаль да Москва не для тебя ли
 По удѣламъ землю собирали,
 Да тугую золотомъ суму.
 Въ рундукахъ приданое копили
 И тебя невѣстою растили
 Въ расписномъ да тѣсномъ терему.

Не тебѣ ли на рѣчныхъ истокахъ
 Плотникъ-Царь построилъ домъ широко —
 Окнами на пять земныхъ морей.
 Изъ невѣсть, красой да силой бранной
 Не была ль ты самою желанной
 Для заморскихъ княжихъ сыновей.

Но тебѣ сыздѣтства были любы —
 По лѣсамъ глубокимъ скитовъ срубы,
 По степямъ кочевья безъ дорогъ,
 Вольныя раздолья да вериги,
 Самозванцы, воры да разстриги,
 Соловьиный посвистъ да острогъ.

Быть Царевой ты не захотѣла —
 Ужъ такое подвернулось дѣло:
 Врагъ шепталъ: развѣй да расточи,
 Ты отдай казну свою богатымъ,
 Власть — холопамъ, силу — супостатамъ,
 Смердамъ — честь, измѣнникамъ — ключи.

Поддалась лихому подговору,
 Отдалась разбойнику и вору,
 Подожгла посадки и хлѣба,

Разорила древнее жилище,
И пошла поруганной и нищей,
И рабой послѣдняго раба.

Я ль въ тебя посмѣю бросить камень?
Осужу ль страстной и буйный пламень?
Въ грязь лицомъ тебѣ ль не поклонюсь,
Слѣдъ босой ноги благословляя, —
Ты — бездомная, гуляющая, хмѣльная,
Во Христѣ юродивая Русь.

КУЗМИНЪ.

122.

Салонъ шумѣлъ веселымъ ульемъ,
Въ дверяхъ мужчинъ тѣснился строй,
Манилъ глаза живой игрой
Рядъ пышныхъ дамъ по желтымъ стульямъ.
Къ камину опершись, поэтъ
Читалъ поэму томнымъ дѣвамъ;
Старушки думали: «ну, гдѣ вамъ
Вздохнуть, какъ мы, ему въ отвѣтъ?»
Въ длиннѣйшемъ сюртукѣ политикъ
Юнцовъ гражданскихъ поучалъ
А въ креслѣ дѣдовскомъ сучалъ
Озлобленный и хмурый критикъ.
Сѣдой старикъ невадалекѣ
Вель оживленную бесѣду,
То наклоняся къ сосѣду,
То прикасяся къ рукѣ.
А собесѣдникомъ послушнымъ
Былъ изъ провинціи аббатъ,
Въ рябинахъ, низокъ и горбатъ,

Съ лицомъ живымъ и простоугнымъ.
Ихъ разговоръ меня привлекъ
Какой-то странной остротою, —
Такъ, утомленный темнотою,
Влечется къ лампѣ мотылекъ.
Но вдругъ живой мотивъ «редовы»
Задорно воздухъ пронизаль, —
И дамы высыпали въ заль:
Замужнія, дѣвицы, вдовы.
Шуршанье платьевъ, звяки шпоръ,
Жемчужныхъ плечъ и рукъ мельканье,
Эгретокъ бойкое блестанье,
И взгляды страстные въ упоръ...
Духовъ и тѣлъ томящій запахъ,
Какъ облакъ душный поднялся,
А разговоръ, межъ тѣмъ, велся
О власти Рима и о папахъ.
И старца пламенная рѣчь
Такимъ огнемъ была повита,
Что, мнилось, можетъ изъ гранита
Родникъ живительный изсѣчь.
И я, смущенье одолѣвъ,
Спросилъ у спутника: «кто это?»
Сквозь стекла поглядѣвъ лорнета,
Онъ отвѣчалъ: «Де-Местръ, Жозефъ».

ГУМИЛЕВЪ.

123. Заблудившійся трамвай.

Шель я по улицѣ незнакомой
И вдругъ услышалъ вороній грай
И звѣны лютни, и дальніе громы,
Передо мною летѣлъ трамвай.

Какъ я вскочилъ на его подножку,
Было загадкою для меня,
Въ воздухѣ огненную дорожку
Онъ оставлялъ и при свѣтѣ дня.

Мчался онъ бурей темной, крылатой,
Онъ заблудился въ безднѣ времянь...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчасъ вагонъ.

Поздно. Ужъ мы обогнули стѣну,
Мы проскочили сквозь рощу пальмъ,
Черезъ Неву, черезъ Нилъ и Сену
Мы прогремѣли по тремъ мостамъ.

И промелькнувъ у оконной рамы,
Бросилъ намъ вслѣдъ пыливый взглядъ
Нищій старикъ, — конечно тотъ самый,
Что умеръ въ Бейрутѣ годъ назадъ.

Гдѣ я? Такъ томно и такъ тревожно
Сердце мое стучить въ отвѣтъ:
Видишь вокзалъ, на которомъ можно
Въ Индію Духа купить билетъ.

Вывѣска... кровью налитыя буквы
Гласятъ — зеленная, — знаю, тутъ,
Вмѣсто капусты и вмѣсто брюквы,
Мертвыя головы продаютъ.

Въ, красной рубашкѣ, съ лицомъ, какъ вымя,
Голову срѣзалъ палачъ и мнѣ,
Она лежала вмѣстѣ съ другими
Здѣсь, въ ящикѣ скользкомъ, на самомъ днѣ.

А въ переулкѣ заборъ дощатый,
Домъ въ три окна и сѣрый газонъ...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчасъ вагонъ.

Машенька, ты здѣсь жила и пѣла,
Мнѣ, жениху, коверъ ткала,
Гдѣ же теперь твой голосъ и тѣло,
Можетъ ли быть, что ты умерла?

Какъ ты стонала въ своей свѣтлицѣ,
Я же, съ напудренною косою
Шель представляться Императрицѣ,
И не увидѣлся вновь съ тобой.

Понялъ теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющій свѣтъ,
Люди и тѣни стоятъ у входа
Въ зоологическій садъ планетъ.

И сразу вѣтеръ знакомый и сладкій,
И за мостомъ летитъ на меня
Всадника длань въ желѣзной перчаткѣ
И два копыта его коня.

Вѣрной твердынею православья
Врѣзанъ Исакій въ вышинѣ,
Тамъ отслужу молебень о здравьи
Машеньки и панихиду по мнѣ.

И все-жъ навѣки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думалъ,
Что можно такъ любить и грустить.

124. Вечеромъ.

Звенѣла музыка въ саду
 Такимъ невыразимымъ горемъ.
 Свѣжо и остро пахли моремъ
 На блюдѣ устрицы во льду.

Онъ мнѣ сказалъ: «Я вѣрный другъ!»
 И моего коснулся платья.
 Какъ непохожи на объятья
 Прикосновенья этихъ рукъ.

Такъ глядятъ кошекъ или птицъ,
 Такъ на наѣздницъ смотрятъ стройныхъ.
 Лишь смѣхъ въ глазахъ его спокойныхъ
 Подъ легкимъ золотомъ рѣсницъ.

А скорбныхъ скрипокъ голоса
 Поютъ за стелющимся дымомъ:
 «Благослови же небеса:
 Ты первый разъ одна съ любимымъ».

125.

Настоящую нѣжность не спутаешь
 Ни съ чѣмъ, и она тиха.
 Ты напрасно бережно кутаешь
 Мнѣ плечи и грудь въ мѣха,
 И напрасно слова покорныя
 Говоришь о первой любви.
 Какъ я знаю эти упорные,
 Несытые взгляды твой!

Чѣмъ хуже этотъ вѣкъ предшествующихъ? Развѣ,
 Тѣмъ, что въ чаду печали и тревогъ
 Онъ къ самой черной прикоснулся язвѣ,
 Но исцѣлить ея не могъ.

Еще на западѣ земное солнце свѣтитъ,
 И кровли городовъ въ его лучахъ блестятъ,
 А здѣсь ужъ бѣлая дома крестами мѣтитъ,
 И кличетъ вороновъ, и вороны летятъ.

МАНДЕЛЬШТАМЪ.

127. Сумерки Свободы.

1.

Прославимъ, братья, сумерки свободы,
 Великій сумеречный годъ.
 Въ кипящія ночныя воды
 Опущень грузный лѣсъ тенеть.
 Восходишь ты въ глухіе годы,
 О солнце, судія — народъ.

2.

Прославимъ роковое бремя,
 Которое въ слезахъ народный вождь беретъ.
 Прославимъ власти сумрачное бремя,
 Ея невыносимый гнетъ.
 Въ комъ сердце есть, тотъ долженъ слышать, время,
 Какъ твой корабль ко дну идетъ.

3.

Мы въ легионы боевые
 Связали ласточекъ, и вотъ
 Не видно солнца, вся стихія
 Щебечеть, движется, живетъ,
 Сквозь сѣти сумерки густыя
 Не видно солнца, и земля плыветъ.

4.

Ну, что жъ, попробуемъ: огромный, неуклюжій,
 Скрипучій поворотъ руля.
 Земля плыветъ. Мужайтесь, мужи,
 Какъ плугомъ, океанъ дѣля,
 Мы будемъ помнить и въ летейской стужѣ,
 Что десяти небесъ намъ стоила земля.

МАЯКОВСКІЙ.

128. Гимн Судье.

По красному морю плывут каторжане,
 трудом выгребая галеру;
 рыком покрыв кандалное ржанье,
 орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
 где птицы, танцы, бабы,
 и где над венцами цветов померанца
 были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груды.
 Вино в запечатанной посуде...
 Но вот неизвѣстно зачем и откуда,
 на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево синий
под глаз его строгий, как пост,
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри,
судья поймал, и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандалных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судья мешает и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?

А за ним,
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужели он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

Неужели он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?

По иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес
И за тыщи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.

130. Сложжя весла.

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все,
Это ведь значит пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать.

Это ведь значит обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громаднаго,
Это ведь, значит, века напролет,
Ночи на шелканье славок проматывать.

ПРИМЪЧАНІЯ.

Михайло Васильевичъ Ломоносовъ, род. 1711 ок. Холмогоръ + 1765. Основатель новой русской культуры; выдающійся, только недавно оцѣненный физикъ (сочиненія его напечатаны въ нѣмецкой серіи *Klassiker der exakten Wissenschaften*); основатель и законодатель новаго литературнаго языка и стихосложенія (въ послѣдней области его опередилъ В. К. Тредіаковскій, болѣе тонкій теоретикъ, но бездарный стихотворецъ — традиція пошла не отъ теоріи Тредіаковского, а отъ практики Ломоносова). Какъ поэтъ, былъ восторженно оцѣненъ современниками, но романтическая поэтика пришедшая на смѣну классицизму въ значительной мѣрѣ развѣнчала его («Уважаю въ немъ великаго человѣка, но, конечно, не великаго поэта» Пушкинъ; тотъ же Пушкинъ, однако, противопоставлялъ его какъ создателя языка «татарскому» генію Державина). Наше время снова становится способно оцѣнить его мощную, умную реторику, полетъ его научнаго натурфилософскаго воображенія и ясность его классической дикціи, — его *curiosa felicitas* («заботливая удачливость») предваряетъ Пушкина; (ср. въ *Одѣ Іовъ* стихи:

Чтобъ нивы въ день палящій жажды
Дождемъ прохладнымъ напоить).

Мы близки къ тому чтобы снова почувствовать въ немъ великаго поэта.

Первая ода (*На взятіе Хотина*) появилась въ 1739 г.

Собрание сочинений издано Академіей Наукъ, подъ ред. акад. Сухомлинова.

1. *Ода Іовъ*, впервые напечат. въ Собрании сочинений 1751 г. въ отдѣлѣ *Одъ Духовныхъ*, восьмой по порядку. Лучшій образецъ реторики Ломоносова; но научно-поэтическое его воображеніе болѣе ярко сказывается въ знаменитыхъ, излюбленныхъ составителями хрестоматій двухъ «*Размышленіяхъ о Божьемъ Величествѣ*» 1743); а способность его къ точному выраженію мысли въ стихахъ въ *Посланіи о пользѣ стекла*.

Александръ Петровичъ Сумароковъ, род. 1717 г. въ Москвѣ, † 1774. Соперникъ и завистникъ Ломоносова. Основатель русскаго классическаго театра (*Хоревъ* 1747); неудачный подражатель Расина и Вольтера («Г. Волтеръ и я»). Пушкинъ, еще въ Лицеѣ, писалъ о немъ

слабое дитя чужихъ уроковъ

Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ.

Лучшее его наслѣдіе пѣсни, условныя по темамъ, какъ вся классическая поэзія, и крайне изысканныя по своей метрикѣ, не нашедшей продолжателей.

2. Впервые напеч. въ *Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ* 1759 г.; въ собраніи сочинений въ отдѣлѣ пѣсенъ подъ номеромъ XXXII. Такіе размѣры въ XVIII в. никто, кромѣ Сумарокова, не употреблялъ.

Гаврила Романовичъ Державинъ, род. 1743, въ Казанской губ. † 1816. Величайшій русскій поэтъ до Пушкина. Подобно другимъ, менѣе великимъ, сдѣлалъ блестящую карьеру стихами. Былъ губернаторомъ въ Тамбовѣ и Петрозаводскѣ, сенаторомъ и Министромъ Юстиціи. На службѣ отличался честностью и дурнымъ характеромъ. «Кумиръ Державина $\frac{1}{4}$ золотой, $\frac{3}{4}$ свинцовый»; «Геній его думалъ по татарски и русской грамоты не зналъ за недосугомъ» — писалъ Пушкинъ. Еще Вл. Соловьевъ и составитель *Русской Музы* П. Якубовичъ, могли начинать русскую поэзію съ Жуковскаго, такъ чуждъ былъ Державинъ XIX вѣку. Три черты характеризуютъ его какъ поэта:

типическая реторика, въ которой онъ соперничаетъ съ Ломоносовымъ; сознательное смѣшеніе стилей («Что первый я дерзнулъ въ забавномъ русскомъ слогѣ и т. д.»); геніальная зрительная, особенно красочная фантазія («О еслибъ стихотворство знало брать краски съ солнечныхъ лучей»).

Державинъ трудный и досадный поэтъ для антологиста: лучшія его красоты находятся въ одахъ цѣликомъ непріемлемыхъ: *Водопадъ* (начало, строфа начинающаяся:

«Алцибіадовъ прахъ! И смѣть»...);

Осень во время осады Очакова (вся первая половина); *Возращеніе Зубова* (среднія строфы). Поэтому мой выборъ а priori не удовлетворителенъ.

Академическое изд. Державина 1868 сл. г., подъ редакціей Грота — одно изъ лучшихъ русскихъ изданій.

3. *На смерть Князя Мещерскаго*. Впервые напечатана въ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ* 1779 подъ заглавіемъ: *Ода на смерть К. М. къ ****. «О князѣ Александрѣ Ивановичѣ Мещерскомъ», говоритъ Гротъ въ академическомъ изд., «извѣстно очень не многое». Ода эта, лучшая изъ риторическихъ одъ Державина, типична вообще для классической поэтики, какъ оригинальная разработка общаго мѣста.

4. *Властителю и Судію*, переложеніе 81-го псалма. Написано въ 1780 г., тогда же напечатано въ первоначальной редакціи въ *С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ*, но вырѣзано изъ журнала до выхода въ свѣтъ (цензурой?). Снова напечатано въ окончательной редакціи въ 1787 г. (*Зеркало Свѣта*). Въ 1795 вспомнили объ этихъ стихахъ и обвиняли Державина въ якобинствѣ. На эти обвиненія Державинъ отвѣчалъ: «Царь Давидъ не былъ якобинецъ; слѣдовательно, пѣсни его не могутъ быть никому противны». Въ изд. 1798 г. ода не перепечатана, и вошла въ собраніе сочиненій только при Александрѣ I (изд. 1808 г.).

5. *Ласточка*, написано въ 1792 г. (тогда же напечатано), послѣдніе два стиха прибавлены въ 1794 г. послѣ смерти

первой жены Державина — «Плѣниры». Въ таномъ видѣ вошло въ изд. 1798. Свособразный размѣръ смущалъ многихъ современниковъ; поэтъ Капнистъ (своякъ Державина) передѣлалъ все стихотвореніе въ правильные 4-стопные ямбы. Единственный здѣсь примѣръ красочнаго стиля Державина, и одинъ изъ лучшихъ. Стихи 35 сл. имѣютъ въ виду «народное повѣрье, будто ласточка на зиму зарывается въ землю на берегу моря, озера, рѣки, или даже на днѣ ихъ», говоритъ Гротъ.

6. *Соловей во снѣ*, написано 1797, напечатано въ *Анакреонтическихъ пѣсняхъ*, 1804. «По любви къ отечественному слову желалъ я показать его изобиліе, гибкость, легкость и вообще способность къ выраженію самыхъ нѣжнѣйшихъ чувствованій, каковыя въ другихъ языкахъ едва ли находятся. Между прочимъ, для любопытныхъ, въ доказательство его изобилія и мягкости послужатъ пѣсни (слѣдуетъ перечисленіе, въ томъ числѣ *Соловей во снѣ*), въ которыхъ буквы *р* совѣмъ не употреблено». Примѣчаніе Державина.

7. *Снигирь*, написано на смерть Суворова (1800). «Пѣсня сія написана тотчасъ по кончинѣ Суворова. Авторъ былъ при оной и, возвратясь домой, услышалъ, что ученый снигирь его напѣваетъ маршъ» (*Ключъ къ сочин. Державина*). Форма четырехстопнаго дактиля, употребленная здѣсь (съ хореемъ во второй стопѣ и цезурой послѣ нея) нормальна для XVIII и начала XIX вѣка. Упоминаю объ этомъ, такъ какъ К. Чуковский (*Некрасовъ, какъ Художникъ*) вмѣняетъ Некрасову въ особую революціонную заслугу употребленіе такихъ дактилей.

Ст. 3. *Гіена* — французская Революція, «злѣйшій Африканскій звѣрь», по объясненію Державина.

Василій Васильевичъ Капнистъ, р. 1757 г. въ Миргородскомъ у., † 1823. Одинъ изъ многихъ малоросійскихъ дворянъ, игравшихъ видную роль въ общественной жизни конца XVIII в. Особенно извѣстенъ своей рѣзко-обличительной комедіей *Ябеда* (1798). Его *Лирическія Сочиненія* вышли въ 1806 г. Самый гладкій и элегантнѣйшій изъ стихотворцевъ своего вре-

мени. Какъ лирикъ былъ послѣдователемъ Горация, съ легкимъ оттѣнкомъ «новѣйшаго унынія».

8. *Въ память Береста, Лирическія Сочиненія* (1806), отдѣлъ *Оды нравоучительныя и элегическія*, XV.

Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ, р. 1760, въ Сызранскомъ у., † 1837. Достигъ чина д. т. с., и былъ министромъ юстиціи (1810-1814). Сотрудникъ Карамзина по литературной реформѣ и извѣстнѣйшій поэтъ поколѣнія между Державинымъ и Жуковскимъ. Дмитріевъ, однако, цѣликомъ принадлежитъ старой поэтикѣ. Его *чувствительность* — только поэтическая тема, столь же условная какъ и *чувственность* Сумарокова. Чувствительность Карамзина органическая часть цѣльнаго «субъективнаго» міросозерцанія. У Дмитріева поэзія еще остается художественнымъ ремесломъ, и еще не стала самовыраженіемъ личности. Кромѣ пѣсень писалъ оды (отступавшія отъ каноновъ XVIII в.), басни, сказки, сатиры.

9. *Пѣсня*, напечат. 1795. Народнической элементъ этой пѣсни сводится къ двумъ-тремъ выраженіямъ («во-ска яра», мотивъ кольца). Конецъ XVIII — начало XIX вѣка были эпохой пѣсенниковъ, издававшихся часто и очень популярныхъ. Въ нихъ смѣшивались пѣсни литературныя и народныя, причемъ вліяніе литературной на народную было гораздо сильнѣе, чѣмъ обратное вліяніе. Литературныя пѣсни цѣликомъ вмѣщаются въ рамки французской школы.

Василій Андреевичъ Жуковскій, род. 1783 г. въ Бѣлевскомъ уѣздѣ, † 1852 г. Сынъ Бѣлевскаго помѣщика Бунина и плѣнной турчанки. Главный дѣятель литературной революціи начала XIX в., непосредственный преемникъ Карамзина, — осуществившій въ стихѣ ту реформу, которую Карамзинъ осуществилъ въ прозѣ, но только пытался осуществить въ стихахъ. Другое движеніе, тоже начатое Карамзинымъ, замѣна классической поэтики новой субъективной, Руссо-Гердеровской, тоже воплощается, для лирической поэзіи, въ Жуковскомъ. Главныя даты дѣятельности

Жуковского — 1802 — переводъ Греевой элегии, по Вл. Соловьеву рожденіе Русской поэзии; 1808 — *Людмила*, адаптация Бюргеровой *Леноры* — начало русской баллады; 1812 — *Пѣвецъ во станѣ Русскихъ Воиновъ*; 1815-1820 расцвѣтъ лирики Жуковского; 1821 — переводъ *Шильонскаго Узника*; съ этого времени Жуковскій становится главнымъ образомъ переводчикомъ (баллады Шиллера, Соути, Скотта, Уланда); 1830-40 годы главнымъ образомъ большія повѣствовательныя полу-оригинальныя по сюжету, исключительно оригинальныя по стихотворному мастерству *Сказки* и поэмы (*Ундина*, *Рустемъ и Зорабъ*, *Наль и Дамаянти*); наконецъ 1847 — *Одиссея*. Переводы и повѣсти Жуковского неисчерпаемая сокровищница высочайшаго стихотворнаго мастерства, въ которомъ онъ стоитъ непосредственно рядомъ съ Пушкинымъ. Лирика Жуковского невелика по объему, но исключительно по достоинству: стихотворенія его лучшей поры (1815-25) составляютъ единственный по своему совершенству цикл идеалистической лирики мелодическаго стиля. О мелодическихъ приѣмахъ Жуковского см. интересную книгу Эйхенбаума «*Мелодика Стиха*» (Спб. 1922).

10. *Пѣсня*, написано въ 1815 г.

11. *Весеннее Чувство*, тоже.

12. *19 Марта 1823*, день смерти М. А. Мойеръ (Протасовой), идеальная любовь къ которой — главный фактъ жизни Жуковского. Впервые напечатано въ посм. изд. Стихотвореніе это имѣетъ разительное сходство со стих. Брентано An S. (Wie war dein Leben), см. В. Жирмунскій, въ *Изв. Саратовскаго Унив.* 1918.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ, р. 1787 въ Вологдѣ, + 1855, съ 1821 душевно-больной. Его *Опыты въ Стихахъ и Прозѣ* вышли въ 1817 г. Сподвижникъ Жуковского по литературной реформѣ. Тогда какъ Жуковскій черпалъ силы въ германской и англійской поэзіи, Батюшковъ учился у французскихъ субъективныхъ лириковъ (Парни, Мильвуа), потомъ у итальянцевъ (Петрарка, Аріосто, Тассо),

наконецъ у грековъ (Антологія). Въ стихѣ Батюшковъ близокъ Жуковскому, но чуждъ его мелодизма — онъ стремился къ чисто-словесной «сладкозвучности» и мечталъ приблизить русскій языкъ къ италіанскому. «Что за чародѣй этотъ Батюшковъ! Звуки совершенно италіанскіе!» писалъ Пушкинъ на поляхъ *Опытовъ*. Батюшковскій стихъ непосредственно выводитъ къ Пушкинскому. Пушкинъ считалъ себя ученикомъ Жуковского, но зависимость его отъ Батюшкова (и ихъ общаго учителя Парни) гораздо тѣснѣе. Лучшее изданіе Батюшкова — 1887 г., въ 3-хъ томахъ.

13. *Выздоровленіе*, впервые напечатано въ *Опытахъ* 1817 г. Редакторомъ изд. 1887 г., отнесено, по біографическимъ соображеніямъ, къ 1808 (время выздоровленія Батюшкова отъ раны, полученной при Гейльсбергѣ); соображеніе шаткое; стилическія основанія говорятъ за гораздо болѣе поздній періодъ (1814-16).

14. *Вакханка*, впервые въ *Опытахъ*. Вольное переложеніе IX пьесы цикла *Les Déguisemens de Vénus*, Парни.

15. *Подражанія Древнимъ*, написаны Батюшковымъ на бѣломъ лицѣ экземпляра *Опытовъ*; дата *Шабгаузенъ, 7-го іюня 1821*. Здѣсь приведены только первые четыре изъ шести «подражаній». Стихи написаны, когда Батюшковъ былъ близокъ къ сумасшествію. Оригинальность ихъ объясняется близкимъ дыханіемъ безумія. По тревожному, сжатому, смятенному синтаксису и композиціи стихи эти стоятъ совершенно одиноко, внѣ общей линіи развитія. Ни о какомъ «подражаніи» древнимъ не можетъ быть рѣчи. Но около того же времени переведена имъ изъ Антологіи одна эпиграмма («Съ отвагой на челѣ и съ пламенемъ въ крови»), въ которой классически ясный подлинникъ разорванъ и деформированъ по такимъ же линіямъ. Немногіе сохранившіеся отъ времени сумасшествія стихи отчасти похожи на эти *Подражанія*, но лишены смысла.

Денисъ Васильевичъ Давыдовъ, род. 1784 г. въ Мо-

сквѣ, + 1839. Знаменитый партизанъ и кавалерійскій начальникъ. Личность Давыдова, одинаково оригинальная въ военномъ дѣлѣ и въ поэзіи, сильно поразила воображеніе его современниковъ. Объ этомъ свидѣтельствуемъ между прочимъ большое количество стиховъ ему посвященныхъ — Пушкинымъ, Жуковскимъ, Баратынскимъ, Языковымъ, Вяземскимъ (см. ниже) и другими. Самъ Давыдовъ искусно эксплуатировалъ свою военную славу для поднятія литературной. Эта послѣдняя была велика уже въ 10-хъ годахъ, хотя *Стихотворенія* Давыдова вышли только въ 1832 г. Пушкинъ говорилъ что онъ Давыдову обязанъ своей оригинальностью. Наиболѣе популярны и извѣстны «гусарскіе» стихи Давыдова. Но кромѣ нихъ онъ писалъ и сантиментально-элегическіе, отличавшіяся отъ обычныхъ элегій 20-хъ годовъ живостью и импульсивностью его «порывистаго, несвязнаго стиха».

16. *Пѣсня Стараго Гусара*, впервые напеч. 1819 г., въ *Соревнователѣ Просвѣщенія и Благотворенія*. Пѣсня эта была популярна до самаго конца въ гусарскихъ частяхъ. Въ стихѣ 11-мъ почти во всѣхъ посм. изд. опечатка «шашки» вм. «ташки». Что объясняется: 1) неосвѣдомительностью штатскихъ редакторовъ въ вопросахъ гусарской формы; 2) смѣшеніемъ треногаго *t* съ *ш*. Стихи 35-36 вошли въ поговорку. Жюмини, знаменитый военный писатель, основатель, вмѣстѣ съ Клаузевицемъ, военной науки XIX вѣка.

Федоръ Николаевичъ Глинка, род. 1788 въ Смоленской губ. + 1880. Единственный значительный русскій поэтъ, посвятившій себя почти всецѣло духовной поэзіи. Первая книга его (*Опыты Духовной Поэзіи*) вышла въ 1826, послѣдняя (*Таинственная Капля*) въ 60-хъ годахъ, въ эпоху расцвѣта Писаревщины. Высоко-оригинальный, мало еще оцѣненный поэтъ. Хорошую характеристику его даетъ И.Н. Розановъ въ книгѣ *Русская Лирика* (1914). Пушкинъ писалъ о немъ (по поводу его поэмы *Карелія*): «Изъ всѣхъ нашихъ Поэтовъ, Ф.Н. Глинка, можетъ

быть, самый оригинальный... Небрежность риѣмъ и слога, обороты, то смѣлые, то прозаическіе, простота, соединенная съ изысканностью, какая-то вялость и въ то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушіе, теплота чувствъ, однообразіе мыслей и свѣжесть живописи, иногда мелочной, — все даетъ особенную печать его произведеніямъ» (*Литературная Газета*, 1830, № 10). Характеристика изумительная, по той точности, съ которой здѣсь взвѣшено каждое слово.

17. *Пѣснь объ ангелѣ*. 1835. Впервые въ *Современникѣ*, 1837 г. Здѣсь текстъ по изданію 1869 г. (*Духовныя Стихотворенія*).

Князь *Петръ Андреевичъ Вяземскій*, род. 1792 въ Москвѣ + 1878. Талантливый критикъ, другъ Пушкина, одинъ изъ главныхъ протагонистовъ «романтизма» 20-хъ годовъ. Несмотря на свою связь съ романтическимъ движеніемъ, самый яркій представитель чисто-остроумнаго, французскаго направленія поэзіи. Переживъ на много лѣтъ свое поколѣніе, Вяземскій съ 50-хъ годовъ выработалъ новый стиль, болѣе эмоциональный и элегическій, который можно отчасти сближать съ Баратынскимъ.

Сочиненія Вяземскаго изданы гр. С.Д. Шереметевымъ (1877 сл.)

18. *Такъ изъ чужбины отдаленной*. Въ 1839 г. Вяземскій послалъ Давыдову стихотвореніе *Эперне* въ своемъ обычномъ каламбурно-метафорическомъ стилѣ. Давыдова оно уже не застало въ живыхъ. Въ 1854 году Вяземскій, вспоминая объ этомъ, написалъ эту приписку. Она уже принадлежитъ къ его позднѣйшему элегическому стилю. Впервые напечатано въ сб. *Въ Дорогѣ и Дома* (1862).

Баронъ Антонъ Антоновичъ Дельвигъ, род. въ Москвѣ 1798 + 1831. Изъ древняго остзейскаго рода, но мать и бабушка русскія. Дельвигъ былъ лучшій другъ и однокурсникъ Пушкина, который его очень высоко цѣнилъ. Общій упадокъ русской литературной куль-

туры, начиная съ 30-хъ годовъ, привелъ къ забвенію Дельвига. Только теперь начинаютъ его снова оцѣнивать. Особенно много дѣлаютъ для этого Ю.Н. Верховскій (*Поэты Пушкинской Поры*, М. 1919 и *Дельвигъ, Матеріалы*. Пушк. Домъ 1922) и М. Л. Гофманъ (*Неизд. Стих. Дельвига*, 1922, особенно предисловіе). Большое дарованіе его было направлено на разрѣшеніе формальныхъ задачъ. Главное произведеніе Дельвига, его идиліи (особенно *Купальницы*). Какъ поэтъ, Дельвигъ сложился очень рано, еще въ Лицеѣ. Съ 1825 и до смерти редакторъ *Сѣверныхъ Цвѣтовъ*, Дельвигъ былъ центральной фигурой этой лучшей эпохи Русской поэзіи.

19. *Успокоеніе*, 1823. Печатается по тексту *Поэтовъ Пушкинской Поры*, т.к. въ Лондонскихъ бібліотекахъ нѣтъ хорошаго изданія Дельвига.

20. *На смерть Веневитанова*, 1827 г. Положено на музыку Даргомыжскимъ.

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, р. 26 Мая 1799 г. въ Москвѣ + 29 января 1837 г., въ Петербургѣ. За послѣднее время производится большая работа по выясненію историко-литературной личности Пушкина. Первое мѣсто здѣсь занимаютъ Б. Томашевскій (изданіе *Гаврииліады*, съ историко-литературнымъ комментариемъ, являющимся лучшей работой подобнаго рода во всей русской литературѣ) и М. Л. Гофманъ (*Пушкинъ, Первая Глава Науки о Пушкинѣ*, Спб. 1922), посвятившій себя преимущественно вопросамъ текста и канона, безнадежно запутаннымъ всѣми издателями отъ Анненкова до Венгерова и Брюсова. Пушкинисты прежнихъ поколѣній занимались главнымъ образомъ вопросами біографіи, которая разработана хорошо, но только монографически. *Жизнь Пушкина* еще не написана. Что же касается «критики», то она оставалась чисто субъективной. При этомъ лишь очень немногіе критики XIX вѣка имѣли какія нибудь личныя данныя для сужденія о Пушкинѣ (прежде всего Анненковъ). Статьи Ап. Григорьева и Достоевскаго геніальны, но ничего не го-

ворять о Пушкинѣ. Все остальное, за рѣдкими исключеніями — скучнѣйшее словоблудіе.

21. Кривцову. Въ рукописи (Публичной Библіотеки) имѣеть заглавіе *Къ Анаксагору* и помѣту дек. 1817. Напечатано въ изд. 1826. Хотя стихотвореніе написано послѣ окончанія Лицея, оно можетъ считаться принадлежащимъ еще къ лицейской эпохѣ; это еще совершенно типическая (условная) разработка Анакреонтического общаго мѣста. Любопытна рифма *свѣтель-пепель*. Стихъ (астрофическій 4-ст. хорей) восходитъ, конечно, къ любимому семисложному стиху Парни; это тотъ же стихъ, что Батюшкова въ *Вакханкѣ*. Послѣдніе четыре стиха неожиданнымъ образомъ повторены у Блона (*Снѣжная Маска*, конецъ посл. стих.)

Такъ гори жъ, и яръ, и свѣтель,
Я же легкою рукой
Размету твой легкій пепель
По равнинѣ снѣговой.

Классическій случай реминисценціи обусловленной исключительно ритмикой. Извѣстно, что около этого времени (1907) Блокъ работалъ надъ Лицейскими стихами.

22. Ю - ву. Ѳ.Ф. Юрьевъ, офицеръ уланскаго полка; ему же посвящено другое посланіе:

Здорово, Юрьевъ именинникъ,
Здорово, Юрьевъ лейбъ-уланъ.

Написано ок. 1819 г. Сохранился экземпляръ частнаго изданія этихъ стиховъ на отд. листѣ. Напечатано въ Сѣв. Звѣздѣ 1829, противъ воли Пушкина. Такимъ образомъ въ «канонъ» не входитъ. Пушкинъ считалъ, что эти стихи «простительно было написать на 19-мъ году, но непростительно признать публично въ возрастѣ болѣе зрѣломъ», очевидно, по соображеніямъ не столько художественнымъ, сколько моральнымъ. Несмотря на это, стихи эти одно изъ первыхъ проявленій чисто Пушкинской власти надъ логической стихіей слова. Анненковъ (*Матеріалы*) передаетъ, что, прочтя эти стихи, Батюшковъ судорожно сжалъ въ рукахъ листокъ,

на которомъ они были написаны и проговорилъ: «О! какъ сталъ писать этотъ злодѣй».

23. *Наполеонъ*, написано въ 1821 г. Напечатано съ пропускомъ (цензурнымъ) строфъ 4,5,6 и 8 и стиха «Померкши, солнце Австерлица!» въ изд. 1826 и 1829. Для поэтической «кухни» Пушкина характерна первоначальная программа этой оды (рукопись Рум. Муз. № 2365): «Народы спрашиваютъ: тотъ ли, который — Гдѣ онъ — Угасъ тотъ, который то и то — и Россію... Но да не упрекнетъ его Руской... Россія спасена — бѣдная Франція въ униженіи — онъ объ ней мыслилъ — остр. Ел. — тамъ онъ думалъ объ Россіи». Въ *Наполеонъ* Пушкинъ впервые далъ законченный образецъ торжественной оды новаго стиля, отличнаго отъ Ломоносовскаго и Державинскаго, но безъ рѣзкаго разрыва традиціи. Это было время сильнаго вліянія на него Шенье, и въ знаменитыхъ эпитетахъ оды ясно видно плодотворное ученичество у французскаго поэта.

24. *Ненастный день потухъ*, впервые напечатано въ изд. 1826 и 1829 г. съ помѣтой «1823». Однако, вѣрнѣе, что написано осенью 1824 г., въ Михайловскомъ. Объ этомъ стихотвореніи существуетъ огромная литература біографическихъ комментариевъ. Система позднѣйшихъ издателей печатать сплошь въ хронологическомъ порядкѣ стихи «каноническіе», стихи посмертные и черновые наброски — заставляетъ многихъ читателей думать что и это—«необработанное» стихотвореніе. Между тѣмъ, Пушкинъ напечаталъ его именно въ такомъ видѣ, используя строки точекъ и оборванную фразу послѣдняго стиха, какъ опредѣленный художественный приѣмъ.

25. *Къ *** (Аннѣ Петровнѣ Кернѣ)*; написано 1825 г. въ Михайловскомъ; впервые напечатано въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ* 1827 г. Въ позднѣйшихъ изданіяхъ произвольно дополнено заглавіе.

26. *19 октября 1825 г.*; впервые напечатано въ *Сѣв. Цвѣтахъ* 1827 г. Первая и самая большая изъ Лицейскихъ Годовщинъ.

27. *Пророкъ*. 1826; впервые въ *Московскомъ Вѣстникѣ* 1828 г. На этомъ знаменитомъ стихотвореніи съ осо-

беннымъ усердіемъ упражнялось пустословіе комментаторовъ Пушкина.

28. *Не пой, красавица, при мнѣ*; 1828; впервые въ *Сѣв. Цвѣтахъ* 1829. Этому стихотворенію біографы посвятили много остроумія. Интересный, хотя и фантастическій во многомъ, стилистическій анализъ стихотворенія у Андрея Бѣлаго («Символизмъ» 1910).

29. *Воспоминаніе*. 1828; впервые въ *Сѣв. Цв.* 1829. Въ изданіяхъ обыкновенно печатается еще 20 стиховъ, найденныхъ въ рукописи. Но только эти шестнадцать составляютъ стихотвореніе, какъ оно напечатано Пушкинымъ. Остальное — не вполне отдѣланный и зачеркнутый набросокъ. Это одинъ изъ самыхъ грубыхъ примѣровъ неудовлетворительной постановки дѣла изданія Пушкина. Левъ Толстой включилъ *Воспоминанія* (и безъ неканоническаго конца) въ свой *Кругъ Чтенія*, куда включено имъ всего три стихотворенія, см. №№ 38 и 52).

30. *Предчувствіе*; 1828; впервые въ *Сѣв. Цв.* 1829 г.

31. *Анчаръ*; 1828 г.; впервые въ *Сѣв. Цв.* 1832 г.

Мериме писалъ, что *Анчаръ* можно перевести только на латынь Вульгаты, и самъ пытался это сдѣлать, однако, неудачно съ самаго начала. «At vir virgin должно у него означать «Но человѣка человѣкъ».

32. *Къ Вельможѣ*. 1829; впервые въ *Лит. Газ.* 1830.

33. *Обвалъ*; 1829; впервые въ *Сѣв. Цв.* 1831 г.

34. *Зимнее Утро*; 1829; впервые въ альманахѣ *Царское Село*, 1830 г.

35. *Для береговъ отчизны дальней*; впервые посмертно въ альм. *Утренняя Заря* 1841 и въ дополн. том. посм. изд. 1841 г. Въ сохранившемся автографѣ первые два стиха читаются:

Для береговъ чужбины дальней

Ты покидала край родной.

Превосходный стилистическій анализъ этого стихотворенія сдѣланъ В.М. Жирмунскимъ («Начала № 1, Спб. 1921, статья *Задачи Поэтики*).

36. *Полководецъ*. Впервые въ *Современникъ* 1836 г. Характерный образецъ Пушкинской лирики послѣд-

няго періода (1830-1836). Періодъ этотъ характеризуется, какъ извѣстно, переходомъ Пушкина отъ лирики и лирической поэмы къ прозѣ и къ объективному («стилизованному») стихотворному повѣствованію (сказки, *Анджело*, *Пѣсни Зап. Славянъ*; исключеніе — *Мѣдный Всадникъ*). Лирическихъ стихотвореній этого времени очень мало — они написаны въ строгомъ, почти аскетическомъ стилѣ; разрабатываются астрофическія формы — александринскій и бѣлый стихъ. «Сладкозвучность» намѣренно избѣгается. Кажется, что Пушкинъ прилагаетъ усилія къ тому, чтобы оградить себя отъ читательскихъ восторговъ.

Евгеній Абрамовичъ Баратынскій (или *Боратынскій*), род. 1800 въ г. Марѣ Тамбовской губ. +1844, въ Неаполѣ. Значительнѣйшій, послѣ Пушкина, поэтъ его времени. Въ свое время былъ популяренъ, какъ авторъ элегій, и поэмъ болѣе реалистическихъ по стилю, чѣмъ байроническія поэмы Пушкина (*Эда*, *Баль*). Большой любовью пользовалась и поэма *Пиръ*, сентиментально-элегическая обработка старой эпикурейской темы. Баратынскій былъ тѣснѣй, чѣмъ Пушкинъ, связанъ съ XVIII в., и мысль, сначала въ формѣ остроумія, потомъ въ болѣе философской формѣ метафизическаго раздумья — центральный нервъ его поэзіи. «Онъ у насъ оригиналенъ, ибо мыслить; онъ былъ бы оригиналенъ и вездѣ, ибо мыслить по своему, правильно и независимо» (Пушкинъ). Но оригиналенъ онъ и какъ мастеръ: именно благодаря этому вездѣсущему токсину мысли, проникающему насквозь все его искусство. Стихъ Баратынскаго жестче Пушкинскаго и отличается предѣльной крѣпостью и насыщенностью. Идеалистическая критика 30-40-хъ годовъ, подмѣнивая мысль идеями, не могла любить Баратынскаго. Статья Бѣлинскаго о Баратынскомъ — лучшій козырь въ рукахъ всякаго врага этого критика. Культъ Баратынскаго сохранялся въ культурныхъ дворянскихъ кругахъ (И. Аксаковъ, Бартеневъ и т.п.). Начало новаго интереса къ нему положено статьей Андреевскаго въ 80-хъ

годахъ. Популярность его и теперь остается ограниченной, но для *немногихъ* онъ одинъ изъ самыхъ нужныхъ и дѣйственныхъ поэтовъ прошлаго.

37. *Признаніе*; 1824 г. Впервые въ *Полярной Звѣздѣ* 1825 г. Какъ почти всегда у Баратынскаго, первоначальная редакція значительно отличается отъ окончательной.

38. *Смерть*. Впервые въ *Моск. Вѣстникѣ* 1829 г. Вошло въ *Кругъ Чтенія* Толстого (см. примѣч. и № 29).

39. *Въ дни безграничныхъ увлеченій*; впервые въ *Европейцѣ* Ив. Кирѣевскаго (1832).

40. *На смерть Гете*, 1833. Истинно философическое стихотвореніе. Какъ и многія другія, оно сочетаетъ всѣ качества поэзіи съ желѣзной послѣдовательностью логическаго разсужденія. Если слѣдовать старой манерѣ классическихъ прозвищъ Баратынскій могъ бы называться «Русскимъ Лукреціемъ».

41. *На что вы, дни!* Впервые въ *Отеч. Зап.* 1840. Это и два слѣдующихъ стихотворенія — изъ книги *Сумерки*, вышедшей въ 1842 г. и заключающей въ себѣ высшія достиженія Баратынскаго.

42. *Филида съ каждою зимою*. (*Сумерки*). Одно изъ изумительнѣйшихъ созданій Баратынскаго: обыкновенная французская эпиграмма неожиданно раздвигающаяся въ символъ безграничной емкости.

43. *Толпѣ тревожный день...* впервые въ *Отеч. Зап.* 1839. Еще образецъ поэтической діалектики Баратынскаго.

44. *Спасибо злобѣ хлопотливой*, ок. 1843 г., впервые двѣ строфы напечатаны въ *Рус. Бес.* 1859, Бартеневымъ, который записалъ ихъ со словъ «одной дамы». Цѣликомъ въ изд. 1869. Какъ эти стихи распираетъ отъ налившейся мысли! Какое полное отсутствіе ненужнаго, всего того, что французы зовутъ «chevilles»!

Николай Михайловичъ Языковъ, род. 1803 въ Сибирскѣ +1846. Младшій изъ поэтовъ Пушкинской плеяды, какъ бы ея Овидій. «Восторгъ, ни на что не направленный», характеризовали его современники. «Не даромъ далось ему имя Языковъ», писалъ Гоголь,

«владѣть онъ языкомъ, какъ арабъ дикимъ конемъ своимъ». Формальное дарованіе Язвонка, его словообразующая сила огромны. Его поэтическое дарованіе всецѣло сводится къ этой самодовлѣющей силѣ. Отсутствіе «человѣческаго содержанія» оттолкнуло отъ него интеллигентскую критику. Несомнѣнно, однако, что самоцѣнное слово у него вышло изъ поставленныхъ для него Пушкинскимъ канонемъ границъ, и въ этомъ смыслѣ Языковъ является *декадентомъ*; слѣдующій шагъ уже представляетъ Бенедиктовъ, заведшій русскую поэзію въ тупикъ, и тѣмъ отчасти оправдавшій идеалистическую реакцію московскихъ кружковъ. Мы воспринимаемъ поэзію Языкова, въ сущности, какъ почти безпредметную. Отсюда любовь къ Языкову нѣкоторыхъ изъ футуристовъ.

45. *Элегія*; дата 1831. М. (т.е. Москва); впервые въ *Одеск. Альм.* 1831 г.

46. *Къ Рейну*, впервые въ *Современникъ* 1841 г. Языковъ первый усвоилъ русскому стиху технику *эпода* (фр. *iambe*) т.е. чередованіе 12 и 8 сложныхъ стиховъ безъ строфическаго строенія. Здѣсь сказывается огромная власть Языкова надъ длиннымъ ритмическимъ періодомъ, его долгое поэтическое дыханіе. Особенно все перечисленіе притоковъ Волги отъ ст. 25 до 71 и потомъ кадансъ во второй половинѣ 71 и въ 72 ст.

47. *Землетрясеніе*, впервые въ *Москвитянинъ*, 1844.

Дмитрій Владиміровичъ Веневитиновъ, род. 1805 въ Москвѣ + 1827 г. Веневитиновъ, Хомяковъ, Иванъ Кирѣевскій и кн. В. Ѳ. Одоевскій (вмѣстѣ съ человекомъ старшаго поколѣнія, Вильгельмомъ Кюхельбекеромъ, своеобразнымъ поэтомъ и очень умнымъ критикомъ) въ серединѣ 20-хъ годовъ составляли общество *любомудровъ*, вводившее въ Россію нѣмецкій идеализмъ и такимъ образомъ явились инициаторами величайшаго переворота въ исторіи русской культуры XIX вѣка. Съ нихъ начинается господство «идей». Забавно читать, какъ 20-лѣтній Веневитиновъ судитъ Пушкина съ высоты своего философскаго величія, и упрекаетъ его въ недостаточномъ уваженіи къ кумиру всѣхъ на-

шихъ идеалистовъ — Гете. Веневитиновъ, однако, (какъ и И. Кирѣевскій) имѣеть достаточно прочные корни въ дворянско-французской культурѣ своего времени, и можетъ быть еще наполовину причисленъ къ Пушкинской школѣ. Культура стиха у него еще очень высока, но стихъ и слово уже потеряли для него ту самоцѣнность, какую они имѣють у Пушкина, и представляетъ опасный уклонъ къ нейтральности. Гармонія Жуковского, Пушкина, Баратынскаго, такимъ образомъ, оказывается разложенной на декадентство Языкова (слѣдующій шагъ — Бенедиктовъ) и нейтральность Веневитинова (слѣдующій шагъ — Ключниковъ).

48. *Я чувствую, во мнѣ горитъ*, 1827 г. впервые въ посм. изд. Мастерское изложеніе поэтики любомудровъ. Конецъ съ его сравненіемъ («Такъ соловей...») вполне въ духѣ Пушкинской школы (ср. Языкова «Мой ангелъ, чистый и прекрасный»).

Александръ Ивановичъ Полежаевъ, род. 1805 въ Пензенской губ. +1838. Незаконный сынъ Пензенскаго помѣщика Струйскаго. Полежаевъ, работалъ внѣ контакта съ Пушкинской группой. Поэзія у него уже перестаетъ быть искусствомъ и начинаетъ становиться безыскусственнымъ изліяніемъ души. Естественно, что слѣдующее поколѣніе во главѣ съ Бѣлинскимъ и весь позднѣйшій XIX вѣкъ предпочитали его всему Пушкинскому кругу, несмотря на очень замѣтное присутствіе въ его стихахъ вульгарно-романтической стихіи 20-30-хъ годовъ. Нельзя отрицать его большого поэтического темперамента.

49. *Пѣснь пльннаго Ирокезца. Стихотворенія* 1832.

Федоръ Ивановичъ Тютчевъ, род. 1803 въ Москвѣ + 1873. Тютчевъ сталъ знаменитъ послѣ изданія 1854, но стихи его появлялись еще въ срединѣ 20-хъ годовъ, и Пушкинъ далъ имъ видное и почетное мѣсто въ своемъ *Современникѣ* (1836). Поэзія Тютчева была близка и понятна всѣмъ его культурнымъ современникамъ (назовемъ Тургенева, Некрасова, даже

Толстого); борьба за Тютчева не была борьбой разных культурных формаций, но только борьбой культуры съ варварствомъ, слуха съ глухотой. Въ позднѣйшее время, съ вульгаризаціей эстетической культуры любовь къ Тютчеву стала однимъ изъ догматовъ эстетическаго снобизма, и слѣдствіемъ этого явилась нѣкоторая реакція и охлажденіе. Разобраться въ историко-литературномъ генезисѣ Тютчева одна изъ самыхъ нужныхъ, интересныхъ и трудныхъ очередныхъ задачъ нашей науки. Элементы латинскіе и нѣмецкіе, классическіе и романтическіе, XVIII и XIX вѣка, *raison raisonnante* и «подсознательнаго», «дня» и «ночи» — въ немъ смѣшаны и переплетены самымъ причудливымъ образомъ. Во всякомъ случаѣ ясно, что онъ стоялъ внѣ большой дороги поэтической эволюціи, являясь какъ бы нѣкоторымъ подземнымъ рукавомъ, соединяющимъ 20-е годы съ 90-ми. Несомнѣнно тоже, что Тютчевъ уже пересталъ быть поэтомъ для поэтовъ, и сталъ поэтомъ для публики.

50. *Весенняя Гроза*, впервые въ *Галатею*, 1829 г.; въ первоначальной редакціи (безъ второй строфы). Потомъ въ *Современникъ*, 1854 г.

51. *Сумерки*, впервые посмертно въ *Русскомъ Архивѣ* 1879, по рукописи, доставленной кн. И. С. Гагаринымъ (іезуитомъ). Датировка возможна только приблизительная (кон. 20-хъ — 30-е годы). Совершеннѣйшій, можетъ быть, образецъ той стороны Тютчева, которая была особенно близка символистамъ и которой посвящена знаменитая статья Соловьева.

52. *Silentium*; въ *Молвъ*, 1833; въ *Современникъ* 1836 и въ *Совр.* 1854 г. Здѣсь воспроизводится (насколько мнѣ извѣстно, впервые) текстъ 1836 г. Текстъ этотъ отличается отъ текста 1854, главнымъ образомъ, амфибрахическимъ ритмомъ 4,5 и 17 стиховъ посреди правильныхъ ямбовъ, приемъ, кажется, исключительный въ русской поэзіи XIX вѣка. Для изд. 1854 стихи *выправлены* въ редакціи Современника, м.б. Тургеневымъ, который продѣлалъ сходную работу надъ стихами Фета.

Silentium (въ ред. 1854 г., конечно) вошло въ *Кругъ Чтенія* Толстого (см. примѣч. къ № 29 и 38).

53. *Сонъ на Морѣ*; въ *Современникъ* 1836 и въ *Совр.* 1854 г. Здѣсь по тексту 1836, отличающемуся отъ позднѣйшаго характерными неровностями метра (см. предыд. примѣчаніе).

54. *Не то что мните*; впервые въ *Современникъ* 1836; гдѣ между первой и второй, и между второй и третьей строфами стоитъ по четыре строки точекъ. Повидимому, точки цензурнаго происхожденія, и замѣняютъ утраченныя строфы слишкомъ ярко пантеистическаго содержанія.

Тютчевская «реторика», какъ она проявляется въ этомъ стихотвореніи, ничего общаго не имѣетъ съ русскимъ XVIII вѣкомъ, и скорѣе близка Баратынскому. Это не риторическая вариация на «общее мѣсто», но діалектическое изложеніе собственной, всегда своеобразной, метафизической мысли. У Тютчева только болѣе широкое ораторское движеніе, чѣмъ у Баратынскаго, использование эмоціональных доводовъ, аргумента *ad hominem*; у Баратынскаго спинозоподобное пиршество отвлеченной діалектики.

55. *1 Декабря 1827*; впервые въ *Современникъ* 1838; дата въ заглавіи врядъ ли указываетъ время написанія стихотворенія. По свидѣтельству И. С. Аксакова 1827 опечатка вмѣсто 1837.

56. *Послѣдняя Любовь*, впервые въ *Современникъ*, 1854. Здѣсь редакторы не коснулись свособразнаго метра.

57. *По случаю пріѣзда Эрцгерцога*, 1855; впервые въ *Стихотвореніяхъ*, 1868. Политическая лирика Тютчева была бы достаточна для того, чтобы дать Тютчеву высокое мѣсто среди русскихъ поэтовъ. Это стихотвореніе характерно яркостью своей инвективы и игрой словъ въ концѣ. Знаменитый остроумецъ въ свѣтѣ, Тютчевъ и въ стихахъ поддерживалъ традиціи французскаго остроумія, сближаясь въ этомъ отношеніи съ Вяземскимъ.

58. *Есть въ осени первоначальной*, дата 22 августа 1857; *Овстугъ*, впервые въ *Русской Бесѣдѣ*, 1858.

59. *Ночное небо такъ угрюмо*, дата 18 августа 1865,

дорогой, впервые въ *Днѣ* 1865. «Демоны глухонѣмыс» вошли въ русскую поэтическую мифологию.

60. *Нѣтъ дня, чтобъ душа не ныла*, дата 23 ноября 1865, впервые посмертно въ *Истор. Вѣсти*. 1903. Изъ цикла стиховъ, посвященныхъ памяти той женщины, о которой написана *Послѣдняя Любовь* и другіе любовные стихи 50-хъ годовъ. Въ нихъ Тютчевъ больше чѣмъ гдѣ бы то ни было приближается къ современному ему идеалу поэтической «непосредственности».

Алексѣй Степановичъ Хомяковъ, род. 1804 въ Москвѣ +1860. Знаменитый славянофилъ и богословъ, создатель православнаго богословія новаго времени. Стихи его начали появляться еще въ 20-хъ годахъ. Въ нихъ Хомяковъ является эпигономъ Пушкинской эпохи, наряду съ Бенедиктовымъ и Павловой. Ранніе его стихи полны напряженной риторичности и «концептизма». Позднѣйшая (съ середины 30-хъ годовъ) патриотическая лирика имѣетъ большой ораторскій размахъ и достигаетъ подлиннаго краснорѣчія. Связана она, однако, не съ XVIII вѣкомъ, какъ пытался установить Эйхенбаумъ, а съ 20-ми годами (риторика Пушкина и Баратынскаго, Языковъ, Глинка).

61. *Труженникъ*, впервые въ *Русской Бесѣдѣ*, 1858. Религіозныя стихотворенія Хомякова немногочисленны, нѣкоторыя основаны на развитіи одного сравненія (*Звѣзды*). *Труженникъ* стоитъ особнякомъ; по напряженности чувства — вершина Хомяковской поэзіи и русской религіозной поэзіи вообще.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ, род. 1808 въ Воронежѣ +1842. Первая книга вышла въ 1835 г. Кольцовъ необыкновенно легко былъ усвоенъ интеллигентской критикой, и быстро сталъ оффиціальнымъ классикомъ. Въ отношеніи нашего времени къ нему господствуетъ растерянность и недоумѣніе. Для Кольцова еще не настало время литературнаго возрожденія. Въ не «русскихъ» стихахъ онъ не болѣе, какъ провинціалъ, не умѣло пытающійся перенять Пушкинскіе каноны. Въ пѣсняхъ онъ изумительный мастеръ,

конечно, не «народный», но блистательно завершающей старую литературную традицию, идущую от пѣсенниковъ XVIII вѣка черезъ Дельвига и Цыганова, создатель искусства очень искусственного и специализованнаго, но по своему совершеннаго. Наконецъ, въ думяхъ онъ несчастная жертва московскихъ кружковъ, которые, какъ извѣстно, были «das schrecklichste der Schrecken».

62. *Горькая Доля*; дата 4 августа 1837 г., впервые въ *Сынъ Отечества*, 1838.

63. *Пѣсня*; дата 5 апрѣля 1838 г. Москва; впервые въ *Моск. Наблюд.* 1838.

Каролина Карловна Павлова, урожд. Янишь, род. въ 1807 г. въ Ярославлѣ +1893. Нѣмка, дочь проф. физики, жена Н. Ф. Павлова, извѣстнаго литератора 30-хъ годовъ; всю жизнь хранила благоговѣйное воспоминаніе о короткомъ романѣ съ Мицкевичемъ (1827). Время ея стихотворной дѣятельности 1838-1861. Павлова — самая крупная русская поэтесса до Зин. Гиппіусъ. По характеру своей поэзіи принадлежитъ отчасти къ эпигонамъ Пушкинской школы (напряженное и «искусственное» ремесло) отчасти къ новой психологической поэзіи (господство мотивовъ рефлексіи). Прекрасное изданіе ея сочиненій вышло въ 1915 году, подъ редакціей Брюсова.

64. *О быломъ, о погибшемъ, о старомъ*; дата Декабрь 1854. Впервые въ *Отеч. Зап.* 1855 г.

Михаиль Юрьевичъ Лермонтовъ (или *Лермантовъ*) р. 1814 въ Москвѣ +1841. Мы съ дѣтства привыкли говорить «Пушкинъ и Лермонтовъ», но въ сущности о Лермонтовѣ можно повторить, въ большемъ масштабѣ то, что сказано о Кольцовѣ: современное отношеніе къ нему полно недоумѣнія и растерянности. Огромности Лермонтовскаго генія никто не оспариваетъ, но яснаго подхода къ нему нѣтъ. Подобно Тютчеву, хотя и иначе, Лермонтовъ полонъ противорѣчій. Главное изъ нихъ заключается въ томъ, что онъ, съ одной стороны, какъ бы полное осуществленіе идеаловъ йн-

теллигентской критики: «поэзія — выраженіе жизни»; съ другой — *единственный* русскій поэтъ, чему-то дѣйствительно научившійся у Пушкина. Реторика Лермонтова, столь цѣнимая въ XIX вѣкѣ, когда всѣ другіе виды реторики были въ загонѣ, теперь сама потускнѣла для насъ; однако, она еще полна таящихся силъ и ждетъ близкаго возрожденія. Романтизмъ Лермонтова (*Ангель*, «*мечты моей созданіе съ глазами полными*» и т. д.) былъ особенно близокъ символистамъ, и занимаетъ въ сокровищницѣ русской поэзіи, столь бѣдной романтизмомъ, мѣсто совершенно исключительное. «Пушкинская» стихія Лермонтова (*Валерикъ*, и многое другое) еще менѣе всего оцѣнена и взвѣшена. Несмотря на свой «германскій» романтизмъ, Лермонтовъ былъ, какъ и Пушкинъ, «французъ» — приближаясь въ реторической поэзіи къ Гюго и Барбье, въ аналитической прозѣ — къ Виньи (*Тамань*) и Стендалю

65. *Ангель*. Написано въ 1832 г. Напечатано впервые въ *Одесскомъ Альманахѣ*, 1840. Самое законченное въ русской поэзіи выраженіе романтической Sehnsucht. Самый ранній и одинъ изъ самыхъ совершенныхъ примѣровъ *мелодическаго* стиля Лермонтова.

66. *Бородино* — впервые въ *Современникѣ* 1837. Интересно было бы установить связь *Бородина* съ военными балладами Камбеля, особенно въ формѣ стиха.

67. *Молитва*, 1837 г. Впервые въ *Отеч. Зап.* 1840 г. Необычны нѣкоторыя инверсіи (особенно «окружи счастіемъ» — рѣдчайшая замѣна дактиля анапестомъ). Интересенъ крайне запутанный синтаксисъ послѣдняго двустишія.

68. *Памяти Одоевскаго*, впервые въ *Отеч. Зап.* 1839. Кн. А. И. Одоевской, декабристъ, талантливый поэтъ дилетантъ, + въ 1839 отъ мѣстной лихорадки на Черноморской Линіи.

69. *Первое Января*, впервые въ *Отеч. Зап.* 1840.

Одно изъ самыхъ характерныхъ стихотвореній Лермонтова по соединенію романтическаго визионерства съ реторической инвективой.

70. *Завѣщаніе*, впервые въ *Отеч. Зап.* 1841 г. Объ

этомъ стихотвореніи превосходно говоритъ М. Берингъ, онъ же хорошо перевелъ его по англійски (Outline of Russian Litterature).

71. *Послѣднее Новоселье*, впервые въ *Отеч. Зап.* 1841г.

72. *Сонъ*, 1841 г.; впервые посмертно въ *Отеч. Зап.* 1843. У Вл. Соловьева гдѣ-то есть интересное замѣчаніе объ этомъ *Снѣ*: здѣсь *три сна*, одинъ внутри другого.

Николай Платоновичъ Огаревъ, р. 1813 въ Москвѣ +1879. Огаревъ — самый значительный изъ поэтовъ московскихъ кружковъ 30-40-хъ годовъ. У нихъ (Клюшниковъ и г.д.) поэзія окончательно перестала быть ремесломъ, и обратилась въ лирической дневникъ переживаній. У Огарева была своя поэтическая оригинальность, и самая распушенность его можетъ издали казаться не лишеннымъ эффекта приѣмомъ. На самомъ дѣлѣ, конечно, это не такъ, и поэзія его очень наивна. Но въ немъ есть особая острота, ему одному присущая, и больше другихъ своихъ современниковъ, онъ носить на себѣ неповторимый отпечатокъ *стиля* (если тутъ можно говорить о стилѣ) своей эпохи.

75. *Fatum*, впервые въ изд. 1856 г.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, род. 1818 +1883. Тургеневъ началъ свою дѣятельность стихами, отъ которыхъ впоследствии отказался, и они не включались въ его собраніе сочиненій. Но занятіе стихотворствомъ сильно отразилось на его прозѣ: это ясно сказывается при сравненіи съ любимъ изъ его современниковъ, отъ Герцена до Толстого. Стихи Тургенева почти въ равной мѣрѣ связаны съ эпигонами Пушкинской школы (вродѣ Ростопчиной) и съ поэзіей кружковъ: они артистичны и элегантны, не въ примѣръ, скажемъ, Огареву.

74. *Въ дорогу*, дата *Ноябрь* 1843. Впервые въ сб. *Вчера и Сегодня*, вмѣстѣ съ двумя другими стихотвореніями подъ общимъ заглавіемъ *Variationi*. Положенное на музыку, стало очень извѣстнымъ романсомъ, но мало кто знаетъ объ авторствѣ Тургенева. Такъ, А. Блокъ поставилъ первую строфу эпиграфомъ къ одному своему

циклу (альм. «Сиринъ» 1913), подписавъ *Цыганскій романсъ*. Въ позднѣйшихъ изд. появилась подпись *Тургеневъ*. Извѣстно, что словосочетаніе «сѣдое утро» имѣло особую значительность для Блока. Любопытно было бы написать «цыганскую» исторію «Утра Туманнаго»: несомнѣнно, что оно создало цѣлую «школу» подражаній.

Аполлонъ Николаевичъ Майковъ, р. 1821 въ Москвѣ +1897. Майкова его современники были склонны ставить выше и Фета и Некрасова. Многіе стихи его вошли въ самыя извѣстныя официальные хрестоматіи. Писаревъ, презиравшій всѣхъ стихотворцевъ, дѣлалъ исключеніе для Майкова. Теперь онъ можетъ считаться почти забытымъ поэтомъ. Самодовольная важность его «идейности», эклектизмъ его вкуса, нейтральность словесной ткани дѣлають его почти пустымъ мѣстомъ для современнаго читателя. Майковъ вполне осуществилъ идеаль поэта «по Бѣлинскому» съ его «художественностью», «мышленіемъ об разами» и уваженіемъ къ общественности.

75. *Поэзія*, дата 1840, изъ *Стихотвореній* 1842 г. Какъ поэтъ, жившій въ упадочное время, Майковъ представляетъ собой типичный примѣръ обратнаго развитія: лучшіе его стихи самыя ранніе, въ нихъ еще есть работа и ремесло, хотя слово уже низведено на вспомогательную роль, и «мышленіе образами» на первомъ планѣ.

Яковъ Петровичъ Полонскій, род. 1819 въ Рязани +1898. Полонскій, въ отличіе отъ Майкова, былъ съ головы до ногъ поэтъ Божьей милостью. Какъ романтической поэтъ, онъ почти равенъ Лермонтову; черезъ того-же Лермонтова онъ что-то смутно подслушаль у самага Пушкина. Но, въ отличіе отъ Фета и Некрасова, Полонскій не былъ «автономиченъ», онъ не вѣрилъ въ себя; онъ постоянно оглядывался на какихъ-то интеллигентскихъ судей, а не шель прямо собственнымъ путемъ,

Хоругвь священную поднявъ своей десной.

Полонскій, имѣвшій огромное, близкое опять же къ Лермонтову, природное мастерство, совсѣмъ не

былъ работникомъ: его поэзія вполне наивна и хотя не въ такой мѣрѣ, какъ Майковъ, онъ тоже представляетъ явленіе обратнаго развитія. Почти все цѣнное написано имъ до 40 лѣтъ; дальше идетъ старческая болтовня, все рѣже и рѣже прерываемая внезапными находами вдохновенія.

76. *Пришли и стали тѣни ночи*, дата 1842; *Стихотворенія* 1845 г. Крѣпость стиха изумительная въ 22-хлѣтнемъ поэтѣ упадочнаго времени. Стихи эти достойны Лермонтова въ его самыя Пушкинскія минуты. Къ этому Полонскій ужъ больше не возвращался.

77. *Колокольчикъ*, дата 1854; впервые въ *Стихотв.* 1855 г. По силѣ и чистотѣ пѣсеннаго порыва; по глубинѣ «русскаго» настроенія; по сложности и богатству лирической перспективы — стихотвореніе это представляется мнѣ одной изъ одинокихъ вершинъ русской лирики.

78. *Пчела*, дата 1855; впервые въ *Стих.* 1855 г.

79. *Тѣнь ангела прошла*, *Стихотворенія* 1859 г.

Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ, род. 1822 въ Москвѣ +1864. Давно уже извѣстный, какъ критикъ и глава молодого демократическаго славянофильства (почвенниковъ) — какъ поэтъ и какъ оригинальный писательскій темпераментъ, Григорьевъ начинаетъ находить свою оцѣнку только въ наше время. Его *Стихотворенія* вышли въ 1846 г., потомъ его стихи появлялись въ журналахъ; въ 1915 г. они изданы подъ ред. А. Блока, съ его же превосходнымъ, хотя и очень субъективнымъ введеніемъ (перепечатано въ 7 томѣ *Собр. Соч.* Блока). Между этими двумя писателями есть несомнѣнная глубокая *Wahlverwandschaft*. Григорьевъ былъ романтикъ, и притомъ *русскій* романтикъ. Стихотворное мастерство въ немъ достигаетъ своего надира, но по темпераменту онъ былъ несомнѣнно *геніемъ*, и изученіе его творчества и его личности въ настоящее время несомнѣнно одна изъ самыхъ волнующихъ и плодотворныхъ темъ.

80. *О говори хоть ты со мной*, впервые въ *Сынъ Отечества*. 1857 г. (№ 47), въ составѣ цикла *Борьба*. За этимъ стихотвореніемъ непосредственно слѣдуетъ *Цы-*

гапская Венгерка (Двѣ гитары, зазвенѣвъ). Обѣ эти пѣсни были рано усвоены петербургскими цыганами, и сохранились въ ихъ исполненіи, въ сильно сокращенномъ и искаженномъ видѣ. *О говори хоть ты со мной*, одно изъ рѣдкихъ стихотвореній Григорьева, выдержанныхъ до конца безъ рѣзкихъ паденій. *Цыганская Венгерка*, мѣстами достигающая болѣе яркой геніальности и во многомъ предваряющая *Двѣнадцать* Блока, непомятно растянута и полна очень слабыхъ мѣстъ.

Аѳанасій Аѳанасьевичъ Фетъ (съ 1877 т. *Шеншинъ*, однако, въ литературѣ сохранилъ свое прежнее имя), р. 1820 г. въ Орловской губ. + 1892. Сынъ орловскаго помѣщика Шеншина и нѣмки. Первая его книга *Лирической Пантеонъ* вышла въ 1840. Она мало чѣмъ отличается отъ вульгарно-романтической поэзіи какого-нибудь Бернета и плохихъ подражателей Бенедиктова, но уже въ 1842 напечатаны стихи, которые принадлежатъ къ высшимъ созданіямъ русской лирики (см. № 81). Фетъ главнымъ образомъ представляется какъ создатель весьма своеобразнаго мелодическаго «романснаго» (въ смыслѣ «*Romances sans paroles*) стиля. Но есть въ Фетѣ и другія стороны, на которыя обыкновенно обращается меньше вниманія. Ю. Никольскій справедливо указалъ на его разсудочность. Эта разсудочность, проявляющаяся въ раннихъ стихахъ нѣсколько наивно, позже вырабатывается въ особую *философичность*, питаемую работой надъ Шопенгауеромъ. Въ *Вечернихъ Огняхъ* мыслительный элементъ господствуетъ надъ пѣсеннымъ. Все это очень осложняетъ обликъ Фета пѣвца. Огромный интересъ для пониманія этой очень непростой личности представляютъ *Мои Воспоминанія*.

81. *Буря на небѣ всечернемъ*, впервые въ *Москвитянинѣ* 1842. Одинъ изъ наиболѣе яркихъ примѣровъ крайней оригинальности у молодого Фета. Въ развитіи чисто музыкальныхъ приемовъ лирической выразительности Фетъ, можно сказать, сразу достигъ всего. Интересный, очень детальный анализъ его мелодическихъ приемовъ у Эйхенбаума (цит. кн. *Мелодія Стиха*).

82. *Ивы и березы*, впервые въ очень отличающейся первоначальной редакціи напеч. въ 1843; здѣсь воспроизводится по тексту 1856 г. Въ *pendant* предыдущему стихотворенію это показываетъ власть Фета надъ логической стихіей слова, съ элегантною и стройною діалектической конструкціей.

83. *Фантазія*, впервые въ *Стихотвореніяхъ* 1850. Стихотвореніе это — можетъ быть самое центральное и своеобразное во всемъ творчествѣ Фета — воспроизводится здѣсь по первоначальному тексту. Не имѣя возможности пользоваться самимъ изд. 1850 г., я руководствовался указаніями покойнаго Ю. Н. Никольскаго (см. его статью въ *Русской Мысли* VII-IX и X-XII, 1921). Въ изд. 1856 г. и во всѣхъ позднѣйшихъ оно печатается въ редакціи, исправленной по указаніямъ *Тургенева*: въ строфѣ второй измѣненъ конецъ 2 и 4 стиховъ: «ночи мая» и «надъ розой изнывая». Третья строфа вовсе вычеркнута. Тургеневъ требовалъ и большихъ измѣненій (см. объ этомъ *Мои Воспоминанія*). Но Фетъ, при поддержкѣ Дружинина, отстоялъ остальное. Такова была диктатура Тургенева надъ русской поэзіей.

84. *Муза, Стихотворенія* 1856. Стихотвореніе это слѣдовало бы печатать en regard съ почти одновременной некрасовской *Музой*.

85. *Еще весны душистой нѣга, Стихотворенія* 1856. Одно изъ лучшихъ стихотвореній Фета, совершенно не подходящихъ подъ ходячее представленіе о немъ, какъ о только пѣвцѣ.

86. *Колокольчикъ, Стихотворенія* 1863.

87. *Какъ бѣденъ нашъ языкъ*, дата 11 іюня 1887 г., *Вечерніе огни*, вып. III.

88. *Сентябрьская Роза*, дата 22 ноября 1890 г.

89. *Не упрекай, что я смущаюсь*, дата 3 февраля 1891 г.

90. *Мы встрѣтились вновь*, дата 30 марта 1891 г.

Послѣднія три стихотворенія должны были, войти въ V выпускъ *Веч. Огней*, но появилась только въ посм. изданіи 1894. г.

87-89 — типичныя разсудочныя и въ то же время напряженно-эмоціонныя элегіи *Веч. Огней*. Въ *Мы*

встрѣтились вновь, Фетъ скользитъ по границѣ невыносимѣйшей банальности, какъ его же ласточка

Стихи чуждой, запредѣльной

Стремясь хоть каплю зачерпнуть.

Этой границы не разглядѣлъ Чайковскій, писавшій романы безъ различія на слова Фета и Ратгауза.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ, род. 1821 (сынъ Ярославскаго помѣщика) +1877. Первая книга Некрасова (*Мечты и Звуки*) вышла въ 1840; она цѣликомъ принадлежитъ вульгарному романтизму 30-хъ годовъ. Въ слѣдующіе годы онъ много занимался чисто ремесленной работой на водевильно-чиновничью публику. Возможно, что эта работа отчасги открыла ему его оригинальность. Въ стихахъ, напечатанныхъ въ 1846-47 гг. (см. № 91) онъ сразу вырастаетъ въ очень большого и абсолютно оригинальнаго поэта. Оригинальность эта отчасти составляется изъ: сильной тенденціи къ натурализму и отказу отъ красоты; особой, иногда безвкусной, но часто сильной и всегда личной реторики; близость къ стихии народной пѣсни, — которой онъ пользовался болѣе творчески и болѣе увѣренно, чѣмъ кто бы то ни было изъ поэтовъ XIX вѣка. Поэзія Некрасова иногда вырождается въ скучнѣйшую механическую болтовню (напр. *Русскія женщины*). Но удивительно, какъ Некрасовъ сумѣлъ (подобно Фету) остаться *самозаконнымъ*, совершенно не поддаваясь заразѣ эклектизма. Некрасова долго судили по партійнымъ признакамъ. Въ настоящее время интересъ къ нему, чисто художественный, впервые далъ возможность его объективной оцѣнки, которая должна быть и остаться очень высокой.

91. *Бду ли ночью*, впервые въ *Современникъ* 1847. Изумительное стихотвореніе. Одно изъ сильнѣйшихъ созданий «петербургской» (какъ говоритъ А. Григорьевъ) литературы середины XIX вѣка, одной исторической формации съ цѣлымъ рядомъ созданий Достоевскаго. Имѣло сильное дѣйствіе на Григорьева, который, однако, довольно наивно возражалъ противъ его «безнрав-

ственности». Замѣчательныя слова о немъ у Розанова, который считалъ первый стихъ величайшимъ русскимъ стихомъ.

92. *Я не люблю ироніи твоей*, 1850 года. Любвиная лирика Некрасова крайне оригинальна, какъ полнымъ отсутствіемъ идеализаціи и красоты, такъ и сдержанной силой выраженія.

93. *Дума* впервые въ *Современникъ* 1861. Одинъ изъ нынѣшнихъ Евразійцевъ въ молодости перевелъ это стихотвореніе на латинскій языкъ. Помню изъ этого перевода два стиха:

Heptadactylus mercator
Servos semper nutrit carne.

94. *Пѣсня убогаго странника*, изъ *Коробейниковъ* (великолѣпное начало которыхъ пользуются такой заслуженной популярностью), впервые въ *Соврем.* 1861; въ позднѣйшихъ изданіяхъ въ седьмомъ куплетѣ
что ты бабу-то бѣшь.

Объ этихъ двухъ редакціяхъ см. Чуковскаго, *Некрасовъ, какъ художникъ*.

Графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой, р. 1817 г. въ Спб. + 1875. Алексѣй Толстой былъ по своему тоже эклектикъ, но эклектикъ, такъ сказать, природный. Его эклектизмъ — художественный и политическій — былъ опредѣленной волей къ гармоніи, и приближается къ Аристотелевской aurea mediocritas. Вкусъ, благородство и мѣра — лучшія качества А. Толстого. Словесная культура, несомнѣнно дилетантская, но хорошо направленная, выдѣляетъ его изъ нейтральныхъ и распущенныхъ стихотворцевъ его времени и приближаетъ къ Фету, только волевой силы Фета онъ былъ совсѣмъ лишень. Характерно для Толстого его любовь къ собственнымъ именамъ (напр. *Драконъ*, *Боривой*), рѣдкій геній въ области *вздорной* поэзіи (здѣсь онъ не имѣетъ равныхъ въ Россіи); и вмѣстѣ съ тѣмъ пониманіе задачъ монументальной поэзіи большого стиля (см. № 96).

95. *По гребль неровой и тряской*, впервые въ *Совре-*

менникъ, 1854. Это стихотвореніе М. Берингъ приводитъ, какъ примѣръ русскаго поэтическаго реализма.

96. *Тропарь*, изъ поэмы *Іоаннъ Дамаскинъ*; впервые въ *Русской Бесѣдѣ* 1859 г. *Тропарь* задуманъ, какъ переложеніе пѣснопѣнія Іоанна Дамаскина, вошедшаго въ «Послѣдованіе погребенія мірскихъ человѣкъ» («отпѣваніе») подъ заголовкомъ *Самогласны Іоанна Монаха* (слѣдовательно, вовсе не тропарь), но съ обильными заимствованіями изъ другихъ частей заупокойной службы. Композиція *Тропаря* отчасти слѣдуетъ своему образцу, въ которомъ, однако, восемь «строфъ», и который варьируетъ ихъ концы съ большимъ разнообразіемъ. Отъ «ветхозавѣтнаго» параллелизма Дамаскина въ ямбахъ Толстого ничего не сохранилось. Естественно, что выбравъ этотъ размѣръ, онъ не могъ не оказаться подъ невольнымъ воздѣйствіемъ *Смерти Мещерскаго*. Какъ бы то ни было *Тропарь* стоитъ совершенно особо въ русской поэзіи XIX вѣка, какъ настоящая «духовная ода», развивающая въ риторическомъ стилѣ общечеловѣческую истину.

97. *О другъ, ты жизнь влачишь, Стихотворенія* 1867 г.

Иванъ Саввичъ Никитинъ, род. 1824 въ Воронежѣ, +1861. Землякъ Кольцова и преемникъ его, какъ поэтъ «изъ народа», онъ принадлежитъ, однако, отчасти уже къ другой исторической формаци, и долженъ быть поставленъ въ связь съ писателями-разночинцами 60-хъ годовъ. Главный интересъ представляютъ его бытовыя поэмы (*Кулакъ, Портной*), въ которыхъ много сильнаго и самобытно натурализма, близкаго къ Помяловскому. Лирика его эклектична и мало оригинальна, за исключеніемъ справедливо знаменитаго *Вырыта заступомъ яма глубокая*. Какъ лирикъ, Никитинъ можетъ вполнѣ почитаться homo unius carminis, человѣкомъ одного стихотворенія.

98. *Вырыта заступомъ*, 1860 г., напечатана въ составѣ повѣсти *Дневникъ Семинариста* (1861).

Константинъ Константиновичъ Случевскій, род.

1837 въ Спб. +1904. Случевскій былъ косноязычный гений. Ненасытная любовь къ конкретному многообразію бытія; зоркій глазъ, направленный во всѣ стороны; недремлющая работа сильной мысли, совершенно чуждой «легкаго ига» идей — могли бы сдѣлать изъ него поэта первой величины. Упадочное время не дало ему потребнаго оружія. Это Демосеенъ съ вырѣзаннымъ языкомъ. Высокое косноязычіе Случевского составляетъ, можетъ быть, его главную, но несомнѣнно досадную привлекательность. Освобождается онъ отъ нея рѣдко и не всегда кстати — впадая при этомъ (особенно, въ раннихъ стихахъ) въ дешевую красоту. Первые стихи его стали появляться во второй половинѣ 50-хъ годовъ, но были зашиканы критикой; съ 1860 т. по 1876 т. онъ молчалъ. Въ нашъ вѣкъ господства формальныхъ задачъ Случевскій имѣетъ мало шансовъ на вниманіе.

99. *Посль казни въ Женевѣ, Стихотворенія* 1880 г.; стихотвореніе это впервые выдвинуто символистами, и всегда признавалось вершиной поэзіи Случевского. Редакція 1880 г. значительно отличается отъ позднѣйшей, воспроизведенной здѣсь. Въ ней, между прочимъ, «старуха страшная» напѣваетъ не «Коль славень», а «Въ крови горитъ огонь желанья».

100. *Карлы*, одно изъ оригинальнѣйшихъ произведеній Случевского, несомнѣнно «декадентское». Такіе гротески, выходившіе изъ-подъ пера редактора *Правительственнаго Вѣстника*, дѣлаютъ изъ самого Случевского фигуру гротескную и полную противорѣчій.

101. *За Сѣверной Двиной*. Случевскій ѣздилъ на Сѣверъ въ 1885 г., сопровождая вел. кн. Владимира Александровича, и описалъ это путешествіе въ отдѣльной книгѣ (*По Сѣверу Россіи*, 1886). Тойма впадаетъ въ Сѣв. Двину ниже устья Вычегды. Край этотъ пересталъ быть «безъ исторіи»: Тойма неоднократно упоминалась въ оперативныхъ сообщеніяхъ 1918-1919 года. Интересна явная зависимость этого стихотворенія отъ *Сельскаго Кладбища Жуковского*, что было неизбежно, въ виду тождества размѣровъ. Интересно тоже, какъ Случевскій,

обращаясь къ «географическимъ» темамъ, совершенно освобождается отъ своего обычнаго косноязычья.

Владиміръ Сергѣевичъ Соловьевъ, род. 1853 въ Москвѣ +1900. Сынъ знаменитаго историка, великій философъ, богословъ и публицистъ, авторъ *Трехъ Разговоровъ*. Въ поэзіи онъ былъ ученикъ ранняго Фета и, отчасти, А. Толстого, послѣдній поэтъ русскаго романтизма. Стихи его въ значительной степени страдаютъ отъ глубокаго упадка стихогворной культуры; они болѣе гладки, чѣмъ сильны. Тѣмъ не менѣе, на ряду со Случевскимъ онъ единственный большой поэтъ своего безвременья. Мистическіе мотивы его поэзіи, какъ извѣстно, имѣли сильное вліяніе на раннее творчество Блока. Лучшее изданіе стиховъ Соловьева — 1915 т., подъ редакціей и съ превосходной біографіей его племянника, С.М. Соловьева.

102. *На Саймъ Зимой*, дата, дек. 1894; впервые въ Вѣстн. Европы 1895. Природа Финляндіи, занимаетъ важное мѣсто въ поэзіи Соловьева. Послѣдняя строфа стоитъ эпитрафомъ къ *Стихамъ о Прекрасной Дамѣ* Блока. Объ этой строфѣ и о юмористическомъ ея толкованіи С. Соловьевымъ по поводу свадьбы Блока съ дочерью Д. И. Менделѣева, см. *Воспоминанія Бѣлаго* (Эпопея, № 1).

Константинъ Дмитріевичъ Бальмонтъ, род. 1867 въ Шуйскомъ уѣздѣ, живетъ въ Парижѣ. Въ 1894 вышло *Подъ Сѣвернымъ Небомъ*, въ 1903 — *Будемъ какъ Солнце*, между этими датами заключено все, что Бальмонтъ написалъ цѣннаго. Поэзія его непосредственно вырастаетъ изъ поэтическаго лже-возрожденія 80-хъ годовъ, но складывается подъ сильнымъ вліяніемъ иностранныхъ образцовъ (англійскихъ, польскихъ). Популярность Бальмонта достигла вершины около 1905, затѣмъ стала быстро падать. На нынѣшній вкусъ онъ почти совершенно неприемлемъ. Тѣмъ не менѣе это большой, хотя и односторонній и эфемерный поэтъ. Чисто звуковая стихія, въ ущербъ слову и смыслу, празднуетъ въ

немъ свое торжество. Стилъ его бѣденъ оттѣнками, но вызываетъ опредѣленные настроенія нагнетательнымъ дѣйствіемъ однообразныхъ приемовъ. Въ лучшую его пору (1898-1903), гамма этихъ настроеній была довольно разнообразна.

103. *Придорожныя травы*, изъ книги *Будемъ какъ Солнце* (1903).

Федоръ Сологубъ (псевд. *Федора Кузьмича Тетерникова*) род. 1863, въ Вологодской губ., живетъ въ Петербургѣ. Какъ и Бальмонтъ, Сологубъ корнями своими глубоко уходитъ въ 80-е годы. Первые книги его вышли въ 1896. Изъ наивнаго и скромнаго поэта тоски Сологубъ выросъ въ огромнаго, сознательнаго и изысканнаго мастера, мастерство котораго нерѣдко граничитъ съ фокусничествомъ. Сологубъ-поэтъ, никогда не пользовался очень громкой популярностью, но теперь становится ясно, что онъ крупнѣйшій изъ символистовъ старшаго поколѣнія. Его знаменитый *Мелкій Бѣсъ*, вѣроятно лучший русскій романъ, написанный со смерти Достоевскаго. Въ позднѣйшихъ стихахъ Сологуба чередуются, съ большей или меньшей регулярностью, высокій стиль идеалистической лирики, и пряный стиль капризнаго и вызывающаго гротеска.

104. *Ангель благого молчанья*, изъ книги *Пламенный кругъ* (1908).

105. *Скифскія суровыя дали*, изъ книги *Фимиама* (1920).

Зинаида Николаевна Гиппиусъ (по мужу *Мережковская*), род. 1867; живетъ въ Парижѣ. Сологубъ и Гиппиусъ, въ свое время меньше оцѣненные, чѣмъ Бальмонтъ и Брюсовъ, для насъ сохранили больше прелести, чѣмъ тѣ двое. Въ З. Гиппиусъ сконцентрированъ интеллектуальный элементъ ранняго декадентства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ ея поэзія является очень важнымъ моментомъ въ эволюціи стиха и лирической композиціи: Гиппиусъ можно разсматривать, какъ звено между «декадентски» понятыми Тютчевымъ и

Баратынскимъ, и Блокомъ. Политическая поэзія Гиппіусъ тоже не лишена интереса, и является самой органичной изъ всѣхъ политическихъ попытокъ сим волистовъ.

106. Тамъ, дата 1900, раннее стихотвореніе, въ которомъ еще не совсѣмъ развилась позднѣйшая «острота», и позднѣйшая манерность. Одна изъ многочисленныхъ у Гиппіусъ разработокъ «свидригайловской» темы о вѣчности.

Валерій Яковлевичъ Брюсовъ, р. 1873, въ Москвѣ; живетъ тамъ же, гдѣ занимаетъ высокій постъ въ Наркомпросѣ. Первые книги Брюсова вышли въ 1894 г. и имѣли громкій успѣхъ скандала. Въ теченіе десяти лѣтъ онъ считался неприличнѣйшимъ изъ декадентовъ и не допускался въ литературное общество. Около 1906 онъ становится признаннымъ главой русской поэзіи, и всѣ плохіе поэты этого времени пишутъ не иначе, какъ «подъ Брюсова». Съ 1912 года, приблизительно, его слава падаетъ и для всѣхъ обнаруживается пустота его искусства. Историческое значеніе Брюсова, тѣмъ не менѣе, огромно. Ему больше, чѣмъ кому нибудь другому, принадлежитъ первое мѣсто въ возстановленіи престижа поэзіи, и возстановленіи ея социальныхъ правъ. Брюсовъ, прежде всего, великій боецъ за «профессиональные интересы» поэтовъ.

Лучшій періодъ гворчества Брюсова 1900-1906 (*Tertia Vigilia*, 1901, *Urbi et orbi* 1903, *Вънокъ*, 1906). Только здѣсь Брюсовъ динамиченъ и художественно честенъ; онъ мужественно борется съ враждебной стихіей слова, преодолевая ее (не безъ поддержки въ примѣрѣ Коневского) мыслью, но начиная съ *Вънка*, онъ находитъ свою, академически-красивую манеру и застываетъ въ подражаніи себѣ. Какъ и Бальмонту, Брюсову чужда всякая тонкость оттѣнковъ: онъ дѣйствуетъ большими риторическими массами.

107. *Въ полдень*, изъ книги *Вънокъ* (1906).

Иннокентій Ѳедоровичъ Анненскій, р. 1856 + 1909. Первая книга Анненскаго вышла (почти аноним-

но) въ 1904 г. (*Тихія пѣсни*), вторая — уже посмертно (*Кипарисовый ларецъ*, 1910, 2-е изд. 1922); другіе посмертные стихи только въ этомъ году (Спб. 1923). Слава Анненскаго почти кружковая, но въ узкомъ кругу петербуржцевъ оцѣнка его очень высока. Не слѣдуетъ ожидать, что онъ когда-нибудь будетъ популяренъ: онъ безусловно несвоевремененъ, онъ устарѣлъ раньше, чѣмъ сталъ извѣстенъ. Но поэтическое творчество внѣвременно: и какъ бы «ненуженъ» для нашего времени ни былъ Анненскій, надо признать высокую абсолютную цѣнность его поэзіи. Приемами своими Анненскій связанъ съ французскимъ декадентствомъ, но связанъ гораздо болѣе органически и въ то же время болѣе творчески, чѣмъ другіе русскіе декаденты. Анненскій не ученикъ, а скорѣе равноправный братъ Верлена и Малларме. Онъ единственный *европеецъ* среди русскихъ символистовъ, почти единственный русскій европеецъ своего поколѣнія. Въ то же время онъ очень интимно связанъ съ прошлымъ русской литературы, Гоголемъ, Достоевскимъ. Мотивъ *жалости* у него всегда недалеко («Все та же шинель Акакія Акакіевича», по выраженію одного изъ акмеистовъ). Можно себѣ представить Анненскаго въ ряду героевъ Достоевскаго, гдѣ-го между господиномъ Голядкинымъ, челоуѣкомъ изъ подполья и героемъ *Сквернаго Анекдота*. Но русскіе кошмары Анненскій преобразуетъ, утончаетъ и облагораживаетъ въ ретортахъ французскаго эстетизма. Искусство его достойно самаго внимательнаго изученія, такъ же какъ и его личность, при всемъ своемъ одиночествѣ дающая важный матеріалъ для *патологіи* современнаго ему общества.

108. Романсъ безъ музыки; *Кипарисовый Ларецъ*, изъ *Трилистника Дождевого*.

109. Зимній Поѣздъ; *Кипарисовый Ларецъ*, изъ *Трилистника Вагоннаго*.

110. *Моя Тоска*; послѣднее стихотвореніе Анненскаго (дата: 12 ноября 1909 г. *Царское Село*). Включено въ *Кипарисовый Ларецъ* послѣ его смерти.

Вячеславъ Ивановичъ Ивановъ, р. 1866 въ Москвѣ; живеть въ Баку, гдѣ состоитъ профессоромъ университета. Въ 1903 вышли *Кормчія Звѣзды*, создавшіяся внѣ контакта съ новыми теченіями русской и французской поэзіи, но въ тѣсномъ общеніи съ греческой древностью, и съ ея отраженіемъ у Ницше. «Необщее выраженіе» и исключительное мастерство сразу дали Вяч. Иванову высокое мѣсто во мнѣніи поэтовъ. Съ 1905 года онъ становится главой и учителемъ петербургскихъ поэтовъ и сохраняетъ это положеніе до разложенія символизма (1912). Поэзія его вся насыщена тысячелѣтіями культуры, полна разнообразнѣйшихъ реминисценцій и архаичнымъ, глубоко обдуманнѣмъ языкомъ отдѣлена отъ языка современности. Мастерство его глубоко сознательное, до мелочей взвѣшенное, далекое отъ непосредственности и вмѣстѣ съ тѣмъ упорно избѣгающее шаблона. Молодыхъ поэтовъ, на которыхъ его вліяніе было велико и благотворно, онъ училъ упорно и добросовѣстно работать, ничего не оставлялъ случайности, не терпѣлъ въ стихѣ «пустого мѣста», стремиться къ тому, чтобы каждая точка въ немъ была дѣйствительна. Глубокая, благородная и несомнѣнно упадочная культурность («византийство») Иванова съ большой привлекательностью сказалось въ написанной имъ часги *Переписки изъ двухъ угловъ* (съ Гершензономъ, 1920), одномъ изъ лучшихъ плодовъ новой русской культуры.

111. *Тризна Діониса*, впервые въ *Cosmopolis* 1898; *Кормчія Звѣзды*.

112. *Испытаніе*, изъ книги *Прозрачность* 1904. Оба эти стихотворенія представляютъ раннюю манеру Иванова, болѣе простую и классическую и менѣе перегруженную тяжелой, напряженной декоративностью, чѣмъ позднѣйшая (начиная съ *Эроса* 1906).

Александръ Александровичъ Блокъ, р. 1880 въ Петербургѣ +1921, гамъ же.

Творчество Блока распадается на три періода, соотвѣтствующіе тремъ томамъ собранія его стихотвореній. Первый періодъ (стихи, написанные 1898-

1904, *Стихи о Прекрасной Дамѣ*)—подъ вліяніемъ своего мистическаго опыта и идей Соловьева — попытка создать чисто музыкальную и безтѣлесную мистическую поэзію. Второй періодъ (стихи 1904-1908), *Нечаянная Радость*, *Снѣжная Маска*, *Земля въ Снѣгу*, лирическія драмы) — разочарованіе въ мистическихъ надеждахъ, возвращеніе на землю, развитіе мелодическаго стиля сильно осложняемато натуралистическимъ элементомъ, разработка темъ романтической ироніи, доходящей до злобнаго, богоборческаго сарказма. Третій періодъ (стихи 1908-1916; *Ночные часы* 1911, третьи тома позднѣйшихъ изданій; поэма *Возмездіе*, начатая въ 1911 г. и оставшаяся неоконченной, трагедія *Роза и Крестъ* 1913; *Сѣдое Утро*, изд. 1919), — выработка подлиннаго Блоковскаго стиля богатаго мелодическимъ элементомъ, насыщеннаго ироническимъ натурализмомъ, появленіе уклона къ риторикѣ (вступленіе *Возмездія*), стремленіе къ прозаизму на почвѣ крайняго «непріятія міра». Тема «мертвеца» и, на смѣну Прекрасной Дамѣ — тема Россіи. Послѣ 1916 написано только *Двѣнадцать*, вѣнецъ Блоковскаго творчества и новой русской поэзіи. Литература о Блокѣ очень обширна. Для біографіи важно М. А. Бекетова *А. А. Блокъ* (Сиб. 1922) и Воспоминанія Бѣлаго. Лучшая историко-литературная характеристика у В. Жирмунскаго *Поэзія Александра Блока* (Спб. 1922).

117. *Гадай и жди*: дата 15 марта 1902; впервые въ *Стихахъ о Прекрасной Дамѣ*. Характерно для «безплотнаго» стиля молодого Блока отсутствіе подлежащаго во второй строфѣ.

117. *Незнакомка*, дата 24 марта 1906 Озерки, изъ *Нечаянной Радости*. Весьма знаменитое стихотвореніе. Оно является центральнымъ для цѣлаго періода; въ немъ пересѣкаются лирическія темы, повторяющіяся въ другихъ сочетаніяхъ. Въ немъ впервые Блокъ достигаетъ синтеза своихъ диссонансовъ, соединяя рѣзкій, гротескный натурализмъ съ романтической мелодіей (вторая половина) въ ней замѣчательно «магическое», «нагнетательное» расположеніе гласныхъ.

115. *На полѣ Куликовомъ*, написано въ 1908 г. (іюль - декабрь). Впервые въ сб. *Шиповника* 1909. Примѣчаніе въ изд. 1912 г. гласило: «Куликовская битва, по убѣжденію автора, принадлежитъ къ числу символическихъ событій русской исторіи, которымъ суждено повтореніе» ('Цитирую по памяти). Сходные мотивы звучать въ другихъ произведеніяхъ того же времени (*Пѣсня Судьбы*). Естественно, что эти стихи вызвали, особенно послѣ революціи, множество коментаріевъ. Эпиграфъ изъ Вл. Соловьева взятъ изъ стихотворенія *Драконъ: Зигфриду*, посвященнаго Императору Вильгельму II и имѣвшаго въ виду «желтую опасность».

Въ этой поэмѣ звучать темы изъ *Задонщины* и *Сказанія о Мамаевомъ Побойцѣ* (не безъ непосредственныхъ реминисценцій изъ *Слова о П.И.*), особенно эпизода гаданья Боброка съ Вел. княземъ по примѣтамъ (*Мы самъ другъ надъ степью* и т. д.), и ожиданія князя Владимира Андреевича въ засадномъ полку (*Я слушаю рокоты сѣчи*) Здѣсь Блокъ впервые осуществилъ лирическую поэму симфоническаго стиля, предваряющую *Двѣнадцатъ*.

116. *Посѣщеніе*, дата сентябрь 1910 (*Ночные часы* 1911).

117. *Какъ тяжело мертвецу* (18 февраля 1912 г.) и

118. *Ночь, улица, фонарь, аптека* (10 окт. 1912 г.) изъ цикла *Пляски Смерти*, одного изъ наиболѣе характерныхъ и центральныхъ въ III томѣ. Тема предѣльнаго отчаянія, по законамъ романтической ироніи, отражается въ усиленномъ стремленіи къ прозаизму и грубо оскорбительному натурализму — въ первомъ стихотвореніи, а во второмъ — выливается въ рѣдкую для Блока сжатую эпиграматичность.

119. *Художникъ*, 12 декабря 1913 г. Процессъ творчества, изображенный здѣсь, чисто пассивный, женственный, характеренъ для Блока. Вдохновеніе было для него одержимостью, экстазомъ. «Творческій разумъ» онъ ненавидѣлъ, и понятна отсюда его нелюбовь къ поэтамъ, поставившимъ на первое мѣсто активное мастерство (Гумилевъ). Для Блока, какъ и для кумира нынѣшней науки, Бенедетто Кроче — творчество было

только воспринимающей интуицией; весь смысл крушения символизма в томъ, что поэты захотѣли быть не воспринимающими пластинками, а созидающими мастерами.

Андрей Бѣлый (псевд. *Бориса Николаевича Бугаева*), род. 1880 в Москвѣ; живетъ в Берлинѣ. Одинъ изъ самыхъ своеобразныхъ, центральныхъ и вмѣстѣ курьезныхъ поэтовъ-символистовъ. Первая его книга (*Золото въ Лазури*) вышла в 1904 г. Новое изданіе его стиховъ вышло недавно в Берлинѣ, съ характерной для символистовъ вообще перетасовкой стихотвореній по новымъ цикламъ: всѣ символисты представляли себя пишущими одну поэму и постоянно ее передѣлывали заднимъ числомъ. Главныя созданія Бѣлаго — его романы (*Серебряный Голубь* 1909 и другіе), в которыхъ онъ, отчасти слѣдуя Гоголю, достигаетъ крайнихъ предѣловъ поэтизаціи прозы. Стихи его представляютъ своеобразное сочетаніе попытокъ создать чисто духовную гностическую поэзію — съ большою конкретностью образовъ сказочныхъ (*Золото въ Лазури*) или бытовыхъ (*Пепель*). Большую роль играютъ формальныя (ритмическія и фонетическія) задачи. В творчествѣ Бѣлаго справедливо отмѣчалось сочетаніе гениальности и шутовства — воображеніе его двигается съ легкостью не то безплотной, не то хлестаковской. Заслуги Бѣлаго в области изученія русскаго стиха очень велики. Его *Воспоминанія о Блокѣ* (*Эпопея* № 1-4, 1922-23), документъ первостепенной важности для исторіи Символизма.

120. *Довольно, не жди, не надѣйся*, 1908. Напечатано в *Пепель* (1905) подъ заглавіемъ *Отчаянье*; в *Стихахъ о Россіи* (1922) — *Россія*; в новомъ изд. *Стихотвореній* (1923) в составѣ «поэмы» *Бродяга*.

Максимиліанъ Александровичъ (Кириенко) - Волошинъ р. 1877; живетъ в Коктебелѣ (Крымъ). Стихи Волошина начали печататься съ 1903 г. Онъ проявился однимъ изъ наименѣе русскихъ, самыхъ «монпар-

насскихъ» поэтовъ символизма. Стихъ его, подобно Ивановскому, насыщенъ густой красочностью и наслѣдіемъ тысячелѣтій, но гораздо менѣе утонченно обработанъ. Въ его темахъ — сильное вліяніе оккультизма. Съ 1917 написалъ рядъ стиховъ о Россіи, въ преувеличенно «русскомъ» стилѣ, излагающихъ близкія къ Вяч. Иванову исторіософскія схемы русской исторіи. Какъ бы ни относиться къ ихъ славянофильско-оккультистской идеологіи — они превосходно сдѣланы, и принадлежатъ къ лучшимъ образцамъ русской декоративной академической лирики.

121. *Святая Русь*; 1918 г. Книги Волошина, изданныя на югѣ Россіи (*Демоны Глухонѣмые*, Харьковъ 1918) трудно доступны. Здѣсь текстъ воспроизводится по сборнику *Стихи о Россіи* (Тифлисъ 1920).

Михаиль Алексѣевичъ Кузминъ, род. 1875 года въ Пошехонскомъ уѣздѣ, живетъ въ Петербургѣ. Въ 1906 г. Кузминъ напечаталъ *Александрійскія Пѣсни*, представившія во всемъ блескѣ его прекрасное дарованіе. Въ Кузминѣ рѣзкій разрывъ со всей метафизической эстетикой символистовъ и возвращеніе поэзіи къ *ремесленнымъ* традиціямъ прошлаго. Въ 1910 Кузминъ выступилъ съ докладомъ о *Прекрасной ясности*, явившимся исходной точкой для анти-символистской реакціи Петербуржцевъ. Мастерство Кузмина огромно; вліяніе его на младшихъ поэтовъ петербургскихъ было очень значительно, отчасти уравновѣшивая вліяніе В. Иванова. Лучшія книги Кузмина *Сѣти* (съ *Алекс. Пѣснями*) и *Глиняныя Голубки* (1914) (съ *Новымъ Ролла*) вышли новыми изданіями въ этомъ году. Къ сожалѣнію, *Куранты Любви* (1907) и прелестныя *Комедіи* (1908) остаются непереизданными.

122. *Салонъ шумгаль веселымъ ульемъ*; впервые въ *Альманахъ Апполона* (1911); изъ поэмы *Новый Ролла*, состоящей изъ виѣшне не связанныхъ, написанныхъ разными размѣрами, эпизодовъ. Пьеса эта представляется мнѣ одной изъ вершинъ почти акробатическаго мастерства Кузмина. Жозефъ де Местръ — великій консервативный мыслитель начала XIX вѣка.

Николай Степанович Гумилевъ, р. 1886 въ Царскомъ Селѣ; + (разстрѣлянъ по приговору Ч. К.) 23 августа 1921 г. въ Петербургѣ. Глава школы акмеистовъ и Петербургскаго Цеха Поэтовъ. Стихи его стали появляться съ 1905 года. Выработывался подъ вліяніемъ Брюсовскаго академизма и Французскихъ Парнасцевъ. Въ холодной по внѣшности, безстрастной и экзотической поэзіи Гумилева есть скрытая струя глубокаго и живого мужественнаго чувства и новый въ русской литературѣ элементъ мужественнаго романтизма и любви къ приключеніямъ. Съ особой силой онъ проявляется въ великолѣпныхъ *Капитанахъ* (1910). Но лучшія его книги послѣднія, особенно, *Огненный Столпъ* (1921).

123. *Заблудившійся Трамвай*, изъ *Огн. Столпа*. Стихотвореніе это по смятенности и интенсивности лирической стихіи — совсѣмъ не характерно для Гумилева. Признаюсь, что въ выборѣ его я руководствовался соображеніями чуждыми существу дѣла и важными для одного меня.

Анна Андреевна Ахматова (Горенко), живетъ въ Петербургѣ. Первые стихи напечатаны въ 1911 г. Въ 1914 г. вышли *Четки*, имѣвшія безпримѣрный успѣхъ и изданныя съ тѣхъ поръ до девяти разъ. Популярность Ахматовой у публики объясняется ея темой (любовь), ея острымъ бытовымъ и психологическимъ реализмомъ, и внесеніемъ въ лирику элемента «романнаго» интереса. Типичныя стихотворенія *Четокъ* миниатюрныя, концентрированныя романы. Въ позднѣйшихъ книгахъ Ахматовой (*Бѣлая Стая*, 1917) и (*Анно Домини*, 1922) намѣчается уклонъ къ болѣе «высокому», условному и риторическому стилю. Профессиональная оцѣнка Ахматовой рѣзко разнится въ двухъ главныхъ центрахъ русской культуры: восторженно почитаемая въ Петербургѣ, она совершенно игнорируется Москвой. Ахматовой посвященъ рядъ работъ молодыхъ петербургскихъ формалистовъ (особенно Б. Эйхенбаумъ, *Анна Ахматова*, 1923).

124. *Вечеромъ*, дата 1913 Мартъ; изъ *Четокъ*.

125. *Настоящую нѣжность*, дата 1913 Декабрь; изъ *Четокъ*.

126. *Чѣмъ хуже этотъ вѣкъ*, дата 1919; впервые въ *Подорожникъ*, 1921.

Осипъ Эмилиевичъ Мандельштамъ. Первые стихи появились въ 1911 г. Его стихи собраны въ двухъ небольшихъ книжкахъ (*Камень*, 1916 и *Tristia* 1922). Акмеистъ и членъ Цеха поэтовъ. Своеобразный поэтъ съ очень «необщимъ выраженіемъ»; основная линия его творчества ведетъ къ возрожденію классической оды, Ломоносовской реторики большого стиля. Но своеобразное косноязычіе мѣшаетъ Мандельштаму выдержать свое краснорѣчіе. Въ отдѣльныхъ стихахъ, двухстишіяхъ, строфахъ почти сравнимый съ Расиномъ — Мандельштамъ беспомощенъ въ композиціи большихъ массъ. Получается перебойное мельканіе ряда риторическихъ плановъ, напоминающее кубистическую картину. Кромѣ стиховъ, Мандельштамъ написалъ нѣсколько статей выдающагося интереса (особенно *Чаадаевъ*, *Аполлонъ* 1915 и *Слово и Культура* — сб. *Драконъ* 1921), къ сожалѣнію, не собранныхъ въ отдѣльную книгу.

127. *Сумерки Свободы*, изъ книги *Tristia*.

Къ сожалѣнію, я не имѣлъ въ моемъ распоряженіи *Камня*, и не могъ воспроизвести превосходнаго *Я не увижу знаменитой Федры*, самаго выдержаннаго и стройнаго изъ стихотвореній Мандельштама.

Владимиръ Владимировичъ Маяковскій, р. 1893 (1894?) въ Имеретіи, живетъ въ Москвѣ, членъ коммунистической партіи. Участникъ первыхъ выступленій (1912) и глава Московскихъ футуристовъ. Футуризмъ Маяковскаго весьма отличается отъ футуризма Хлѣбникова. Хлѣбниковъ — кротъ, копающійся въ глубочайшихъ нѣдрахъ языка, создающій совершенно «самовитое» и абсолютно безприкладное искусство. Маяковскій — съ сильнымъ уклономъ къ сатирѣ и публицистикѣ. Тѣмъ не менѣе и у Маяковскаго центръ интереса на *словотворчество*, на языковомъ *ремесль*.

Громкая, буйная, но здоровая поэзія Маяковскаго понятнѣе и нужнѣе для читателя, чѣмъ творчество другихъ футуристовъ. Хлѣбниковъ, конечно, можетъ остаться только поэтомъ для поэтовъ (и для филологовъ). Сочиненія Маяковскаго собраны въ двухъ томахъ (*Из лет работы*, М. 1922).

128. *Гимн Судьѣ*, впервые въ *Нов. Сатириконѣ*, 1915. Стихотвореніе это, конечно, не даетъ всей мѣры Маяковскаго. Но всѣ наиболѣе зрѣлыя и сильныя его произведенія—болѣе или менѣе длинныя поэмы (*Облако в Штанах*, *Человек*, *150.000.000*, *Люблю* и т.д.) и не могутъ быть даны въ отрывкахъ: въ отличіе отъ большинства современниковъ Маяковскій подлинный мастеръ композиціи.

Сергій Александровичъ Есенинъ, р. 1895, въ Рязанской губ.; изъ крестьянъ. Несмотря на внѣшнее сходство (общее всѣмъ москвичамъ) Есенинъ — полная противоположность Маяковскому. Поэзія его непосредственна, наивна, романтична, онъ вовсе не работникъ. Въ его стихахъ звучитъ стихія русской народной поэзіи, старой лирической пѣсни и новой частушки; какъ въ нихъ, у него неразрывно связана томящая элегическая грусть съ безшабашнымъ озорствомъ хулигана. Онъ самый *пѣвучій* изъ младшихъ поэтовъ. Съ особенной силой проявился его пѣсенный даръ въ «трагедіи» *Пугачевъ* (1922).

129. *Видѣли ль вы*, изъ цикла *Сорокоустъ* (1918?).

Борисъ Леонидовичъ Пастернакъ. Сынъ извѣстнаго художника. Стихи его появлялись въ изданіяхъ *Центрифуги* еще до Революціи. Въ 1917 написана имъ книга *Сестра Моя Жизнь*, напечатанная только 1922, но распространявшаяся уже до этого въ спискахъ. Книга эта произвела большое впечатлѣніе сочетаніемъ большого словеснаго мастерства съ подлиннымъ, рѣдкимъ по интенсивности лирическимъ темпераментомъ. Съ тѣхъ поръ издалъ еще *Темы и Вариации* (1923).

130. *Сложна Весла*, изъ книги *Сестра моя Жизнь*.

Текстъ воспроизведенныхъ стихотвореній въ значительной мѣрѣ неудовлетворителенъ: я имѣлъ возможность пользоваться только Лондонскими книгохранилищами (British Museum, London Library, Slavonic Library въ King's College), которыя, несмотря на свое большое богатство, далеко не имѣютъ исчерпывающаго характера. Такъ, въ Британскомъ Музеѣ нѣтъ ни Боброва и Шихматова, ни пятитомной антологіи Жуковскаго; нѣтъ тамъ ни *Стихотвореній* Пушкина 1829-1835 г., ни *Стихотвореній* Лермонтова 1840 г., ни *Стихотвореній* Баратынскаго 1835 г.; нѣтъ ни одного прижизненнаго изданія Капниста, Дельвига, Языкова; нѣтъ *Стихотвореній* Фета 1850 г. Такимъ образомъ, тексты здѣсь воспроизведенные, далеко не равноцѣнны. Тамъ, гдѣ я имѣлъ возможность, я воспроизводилъ авторитетные тексты съ соблюденіемъ орѳографіи подлинника; отсюда большая пестрота.

Вообще, въ выборѣ текста я руководствовался принципомъ М.Л. Гофмана — послѣдній текстъ, напечатанный при жизни поэта, но отступилъ отъ него въ отношеніи нѣкоторыхъ стихотвореній Тютчева (№№ 52, 53, 54, 55, напечатанные впервые въ Пушкинскомъ *Современникѣ*), Фета (№ 83) и Некрасова (№ 94). Относительно Фета мы знаемъ, что окончательная редакція (1856 г.) установлена подѣ воздействиемъ Тургенева, которому Фетъ подчинился послѣ долгой борьбы. То же можно предполагать и относительно Тютчева. Выравненіе метра въ *Пѣснь убогаго странника* сдѣлано Некрасовымъ тоже, повидимому, по чужому настоянію. Вообще, поэты середины XIX вѣка были не всегда самозаконны и легко подчинялись постороннимъ требованіямъ. Какъ бы то ни было, освѣженіе текста во всѣхъ этихъ случаяхъ не можетъ быть нежелательнымъ.

Что касается новой орѳографіи, по ней напечатаны только стихотворенія москвичей.

А Н Т О Л О Г И И.

Я думаю, не будет большой ошибкой утверждение, что у нас нѣтъ хорошей антологіи. Антологія Жуковскаго, конечно, чрезвычайно цѣнна, но была издана раньше первыхъ выступлений Пушкина. Антологіи Щербинина (1858) и П. Я. (Русская Муза 1904, 2 изд. 1907), интересны только для оцѣнки литературнаго вкуса 50-хъ годовъ и начала XX в. и отчасти по большому количеству стиховъ, перепечатанныхъ изъ журналовъ, и никогда не выходившихъ въ отдѣльныхъ изданіяхъ. Хрестоматія Галахова, замѣчательная для своего времени — совершенно чужда нашему. *Русскіе Поэты* Гербеля (1873 и 1887) имѣютъ большую цѣнность, но только, какъ сборникъ біо-библіографическихъ свѣдѣній. Въ позднѣйшее время вышли *Русская Лирика* Ходасевича (1915, *Унив. Библіотека*), заканчивающаяся Фофановымъ и Лохвицкой, не лишенная единства замысла, но совершенно чуждая, по крайней мѣрѣ, моему поэтическому воспріятію; и *Русскій Парнасъ* (Лейпцигъ 1920) малопонятливая и случайная компиляція, криво отражающая средній уровень вкуса символистскихъ круговъ. Хорошихъ антологій современной поэзіи тоже нѣтъ; лучшая—*Портреты Русскихъ Поэтовъ* Эренбурга (1922), составленная съ любовью и пониманьемъ, но явно не полная.

Зато есть нѣсколько превосходныхъ *спеціальныхъ* антологій; изъ нихъ особенно цѣнны *Любовная Лирика XVIII вѣка* (1910, изд. *Пантеонъ* подъ ред. А. А. Веселовской) и *Поэты Пушкинской Поры* Ю. Н. Верховскаго (М. 1919). Тутъ же хотѣлось бы упомянуть еще о *Русской Лирикѣ* И. Н. Розанова (1914), отмѣнномъ путеводителѣ по русскимъ поэтамъ конца XVIII и начала XIX вѣка.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПЕРВЫХЪ СТИХОВЪ.

Ахъ, зачѣмъ меня	63
Ахъ, когда бъ я прежде знала	9
Безъ смерти жизнь не жизнь, и что она? Сосудъ	15,1
Блаженъ, кто могъ на ложѣ noci	45
Буря на небѣ вечернемъ	81
Взгляни сей кипарисъ, какъ наша степь, безплоденъ	15,III
Видѣли ли вы	129
Возсталъ Всевышній Богъ, да судить	4
Всевышній граду Константина	47
Всѣ на праздникъ Эригоны	14
Вся ты закуталась шубой пушистой	102
Вхожу я въ церковь — тамъ стоятъ два гроба	73
Въ водахъ голубого бассейна	100
Въ дни безграничныхъ увлеченій	39
Въ жаркое лѣто и въ зиму студеную	119
Въ лѣсахъ замкнувшихся великимъ мертвымъ кругомъ	101
Въ моей крови	19
Въ непроглядную осень туманны огни	108
Въ ночь, когда Мамай залегъ съ ордою	115,3
Въ полдневный жаръ въ долину Дагестана	72
Въ пустынь чахлой и скупой	31
Вырыта заступомъ яма глубокая	98
Гадай и жди. Средп полночи	113
Гдѣ друзья минувшихъ лѣтъ	16
Глаголь время, металла звонъ	3
Грудь ли томится отъ зною	104
Для береговъ отчизны дальней	35
Довольно, не жди, не надѣйся	120
Дробясь о мрачныя скалы	32
Духовной жаждою томимъ	27
Есть въ осени первоначальной	58
Еще весны душистой нѣга	85
За вздохомъ утреннимъ мороза	88
Звенѣла музыка въ саду	124
Здѣсь Берестъ древній, величавый	8
Зимой порою тризнь вакхальныхъ	111
И море, и буря качали нашъ чолнъ	53
Какая сладость въ жизни сей	96
Какъ бѣденъ нашъ языкъ — хочу и не могу	87
Какъ ландышъ подъ серпомъ убійственнымъ жнеца	13
Какъ часто пестрою толпою окружень	69

Когда въ страданіи дѣвица отойдетъ	15, IV
Когда для сметрнаго умолкнетъ шумный день	29
Легкій, легкій вѣтерокъ	11
Лодка колотится въ сонной груди	130
Люби, люби Камень, кури имъ фиміамъ	75
Любимецъ вѣтренныхъ Лаисъ	22
Люблю грозу въ началѣ мая	50
Межъ тѣмъ, какъ Франція среди рукоплеска- ній	71
Минувшихъ лѣтъ очарованье	10
Молчи, скрывайся и тай	52
Морозъ и солнце; день чудесный	33
Мы встрѣтились вновь послѣ долгой разлуки	90
Мы одни; изъ сада въ стекла оконъ	83
Мы самъ другъ надъ степью въ полночь стали	115, 2
Наединѣ съ тобою, братъ	70
Настоящую нѣжность не спутаешь	125
На что вы, дни! Юдольный міръ явленья	41
Не въ сумрачный чертогъ Наяды говорливой	84
Ненастный день потухъ, ненастной ночи мгла	24
Не пой, красавица, при мнѣ	28
Не пугай насъ, милый другъ	21
Не то, что мните вы, природа	54
Не упрекай, что я смущаюсь	89
Ночное небо такъ угрюмо	59
Ночь нѣма, какъ духъ безплотный	86
Ночь, улица, фонарь, аптека	118
Нѣтъ дня, чтобы душа не ныла	60
Нѣтъ, мѣра есть долготерпѣнью	57
О быломъ, о погибшемъ, о старомъ	64
О, говори хоть ты со мной	80
О, домовитая ласточка	5
О другъ, ты жизнь влачишь, безъ пользы увя- дая	97
О, какъ на склонѣ нашихъ лѣтъ	56
Опять надъ полемъ Куликовымъ	115, 5
Опять съ вѣковою тоскою	115, 4
Отъ сѣверныхъ оковъ освобождая міръ	34
О ты, что въ горести напрасно	1
По вечерамъ надъ ресторанами	114
По греблѣ неровной и тряской	95
По жесткимъ глыбамъ сорной нивы	61
По красному морю плывутъ каторжане	128
По небу полуночи ангелъ летѣлъ	65
Предстала, и старецъ великій смежилъ	40
Притворной нѣжности не требуй отъ меня	37
Пришли и стали тѣни ночи	76
Прославимъ, братья, сумерки Свободы	127
Пусть травы смѣняются подъ капищемъ волненья	110

Пчела погибшая съ послѣдними цвѣтами	77
Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ	26
Рѣка раскинулась. Течетъ, груститъ лѣниво	115,1
Салонъ шумѣлъ веселымъ ульемъ	122
Свершилось! Молодость окончена	107
Скажи-ка, дядя, вѣдь недаромъ	66
Скалы чувствительны къ свирѣли	15,11
Скифскія суровыя дали	105
Смерть дочерью тьмы не назову я	38
Снова тучи надо мною	30
Снѣговъ нѣмую черноту	109
Соловьемъ залетнымъ	62
Спасибо злобѣ хлопотливой	44
Спите, полумертвые, увядшіе цвѣты	103
Сторона наша убогая	93
Судъ мірамъ готовится	17
Суздаль да Москва не для тебя ли	121
Такъ здѣсь-то суждено намъ было	55
Такъ изъ чужбины отдаленной	18
Толпѣ тревожной день привѣтень, но страшна	43
То не ели, не тонкія ели	116
Ты предо мною	12
Тщетно я скрываю сердца скорби люты	2
Тѣни сизыя смѣсились	51
Тѣнь ангела прошла съ величіемъ царицы	79
Тяжелый день, ты уходилъ такъ вяло	99
Улеглася метелица, путь озаренъ	78
У Русскаго Царя въ чертогахъ есть палата	36
Утро туманное, утро сѣдое	74
Филида съ каждою зимою	42
Что блаженнѣй? упоеній	112
Что ты заводишь пѣсню военну	7
Чудесный жребій совершился	23
Чѣмъ хуже этотъ вѣкъ предшествующихъ? Развѣ?	126
Шель я по улицѣ незнакомой	123
Ѣду ли ночью по улицѣ темной	91
Юноша милый, на мигъ ты въ наши игры вмѣ- шался	20
Я видѣлъ, какъ бѣгутъ твои зелены волны	46
Я въ лодкѣ Харона съ гребцомъ безучастнымъ	106
Я зналъ его, мы странствовали съ нимъ	68
Я лугами иду, вѣтеръ свищетъ въ лугахъ	94
Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою	67
Я на холмѣ спалъ высокою	6
Я не люблю ироніи твоей	92
Я помню чудное мгновенье	25
Я умру! на позоръ палачамъ	49
Я чувствую, во мнѣ горитъ	48

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОЭТОВЪ.

(Цифры означаютъ номера стихотвореній).

Анненскій, И. Ф.	108 - 110
Ахматова, Анна.	124 - 126
Бальмонтъ, К. Д.	103
Баратынскій, Е. А.	37 - 44
Батюшковъ, К. Н.	13 - 15
Блокъ, А. А.	113 - 119
Брюсовъ, В. Я.	107
Бѣлый, Андрей	120
Веневитиновъ, Д. В.	48
Волошинъ, М. А.	121
Вяземскій, кн. П. А.	18
Гиппиусъ, Зинаида	106
Григорьевъ, Аполлонъ	80
Гумилевъ, Н. С.	123
Давыдовъ, Денисъ	16
Дельвигъ, бар. А. А.	19,20
Державинъ, Г. Р.	3 - 7
Дмитрѣевъ, И. И.	9
Есенинъ, С. А.	129
Жуковскій, В. А.	10 - 12
Ивановъ, Вячеславъ	111, 112
Капнистъ, В. В.	8
Кольцовъ, А. В.	62,63
Кузминъ, М. А.	122
Лермонтовъ, М. Ю.	65 - 72
Ломоносовъ, М. В.	1
Майковъ, А. Н.	75
Мандельштамъ, О. Э.	127
Маяковскій, В. В.	128
Некрасовъ, Н. А.	91 - 94
Никитинъ, И. С.	98
Огаревъ, Н. П.	73
Павлова, Каролина	64
Пастернакъ, Б. Л.	130
Полежаевъ, А. И.	49

Полонскій, Я. П.	76 - 79
Пушкинъ, А. С.	21 - 36
Соловьевъ, Вл. С.	102
Сологубъ, Федоръ	104, 105
Сумароковъ, А. П.	2
Толстой, гр. А. К.	95 - 97
Тургеневъ, И. С.	74
Тютчевъ, Ф. И.	50 - 60
Феть, А. А.	81 - 90
Хомяковъ, А. С.	61
Языковъ, Н. М.	45 - 47
